

**История в «человеческом
измерении»**
(О книге В. Г. Левиной «Я помню...»)

Предлагаемые вниманию читателей мемуары В. Г. Левиной не претендуют ни на широкие обобщения, ни на подробное описание эпохи. Ее цель скромнее — дать лишь некоторые штрихи к портрету времени, яркие, хотя и фрагментарные «живые картины», моментальный снимок остановленных мгновений. Бесхитrostный, простой рассказ, лишенный пафосности и риторических украшений, вместе с тем оказывается не менее ценным, нежели иные пухлые записки «о времени и о себе». Бытовые детали, ускользнувшие от внимания авторов широких полотен о советском прошлом, мелкие подробности городского «жития», повседневность в ее порой самых неприглядных видах, — все это зорко подмечает В. Г. Левина, что делает ее воспоминания уникальным документом, имеющим непреходящую ценность. Многое, о чем она говорит, нам уже не скажет никто — официальная литература, создававшая миф о СССР, интересовалась скорее «героическим бытием», чем «тьмой низких истин».

Перед нами своеобразная летопись советской жизни, в которой неразрывно соединено хорошее и плохое, трагичное и комическое, высокое и низкое. У читающего строки воспоминаний постепенно возникает удивительное ощущение причастности к описанным здесь событиям. По характерным оговоркам, специфике речи, особенностям рассказа, лексике он узнает тут нечто, переданное ему в детстве от других поколений горожан — город как форму духовной жизни, своеобразный «ленинградский стиль».

В. Г. Левина не превращает рассказ в пророчество, не прячет свои сомнения, не старается переписать историю в выгодном для себя свете. Честность, сдержанность, прямота в сочетании с благожелательностью, стремлением понять людей в различных поворотах их судеб придают особую привлекательность и неповторимый

колорит «заметкам ленинградки». Жизнь как она есть — в непрерывном движении, где важное чередуется с малозначительным, а радостное с горьким, — в мемуарах В. Г. Левиной вместе с тем оказывается прочно соединенной с основными вехами истории России XX века.

НЭП, индустриализация, ГУЛАГ, жизнь «лишенцев», блокада, послевоенная нищета, «культ личности» и последующая борьба с ним, наконец, «застой» 1970-х гг., — все это нашло отражение в заметках В. Г. Левиной. Здесь, правда, не найдешь пространных политических экскурсов, — трагизм эпохи передан по преимуществу через освещение судеб близких мемуаристу людей, посредством зарисовок, зримо воссоздающих историю многолюдных ленинградских квартир. Описание школьных и университетских занятий, пионерских лагерей, очередей, магазинов, зарплат, еды, одежды, трудовых будней, досуга и т. п., — все это, независимо от места в иерархии ценностей, естественно вплетается в ткань рассказа, в ряде случаев становясь его доминантой. Рассказ то замедляется, ввиду отступлений автора, то ускоряется, переходя в «сухое», почти анкетное перечисление заурядных биографических фактов (поступление на работу, отпуск, командировки), — но никогда не прерывается, оставаясь целостным. Здесь и удивившие автора сценки, и наблюдения над языком, и иногда артистично переданные диалоги с различными людьми. Мозаичность наблюдений не приводит, однако, к фрагментации воспоминаний. Все эпизоды логично «сцеплены» друг с другом, объяснены и пережиты, имеют свое необходимое место в структуре повествования и не случайны в жизненном опыте мемуаристки.

Менее всего можно упрекнуть автора воспоминаний в том, что она не отличает первостепенное от случайного. Только в таком сочетании главного и необязательного и возникает свобода повествования, которое не ограничено, как флажками, предвзятыми представлениями о приоритетах эпохи, но само способно определять ее вехи, не оглядываясь на историографические и идеологические догмы. Парадоксально, но именно «камерность» описаний, замкнутость в бытовых и повседневных реалиях, отсутствие попыток «социологизировать» прошлое оказывается условием свободного взгляда на российскую историю недавнего времени.

С. В. Яров



*Посвящаю Елене, Борису, Анне,
Алисе, Елене Бернадской и
памяти моего дорогого мужа
Владимира Лазаревича Левина,
который был со мной рядом
шестьдесят лет*







ПРЕДИСЛОВИЕ

У этого повествования нет героя. Вместо него есть нечто неопределенное, важное и враждебное. Это — Время. Оно то рывком стремится вперед, увлекая все и всех за собой, часто разрушая все по пути, то тащится шаткой походкой, иногда возвращая многое назад и тоже мучая людей. Теряются понятия, мораль, представления, образы, впечатления, обедняется язык.


Мне 84 года. И только теперь, на девятом десятке жизни, я по-настоящему поняла, как быстро уходят факты нашей жизни, детали быта в самых разных смыслах и масштабах, понятия и просто слова. Об этом давно напоминал советский писатель Лев Успенский, но лишь недавно и я осознала, что, если не потороплюсь, то не успею зафиксировать и передать то, что скоро уйдет со мной.

Ведь не удивительно, что молодые люди уже не всегда понимают мою речь, а я — их, и часто многое в нашей прошлой жизни им кажется невероятным. А все более интенсивный темп современной компьютерной жизни не дает отстояться в головах людей понятиям и словам.

Это не настоящие воспоминания, которые требуют большой ответственности, документальных подтверждений и т. п. Иногда читателю придется уточнять интересующие его детали или факты по справочникам в хорошей библиотеке.

Вообще воспоминания — трудный жанр, в них часто заметна слишком злобная позиция автора, — или сентиментально-сладкая. Эти заметки написаны по принципу «что помнится» и, конечно, тоже субъективны.

Трудно распланировать такой материал. Буду поэтому располагать его в хронологическом порядке, с инверсиями — заходами в



более позднее время и возвратами в прошлое. О себе лично поста-
раюсь говорить лишь опосредованно.

Заметила, что все время говорю от местоимения «мы». Это, во-первых, традиция нашего поколения, а во-вторых — в детстве мы были очень дружны и неразлучны с моей младшей сестрой Зоей. А потом «мы» уже означало мой класс, с которым я находилась все время, кроме сна. Начиная же со студенческих лет, «мы» уже превратилось в стойкую пару — меня с будущим мужем, Владимиром Левиным, вплоть до дня его кончины в 1994 году.

Но еще скажу, что по образованию я биолог, по основной профессии — библиограф. Чтобы понятно было мое лицо: я жена (теперь уже вдова), мать, теща, бабушка и прабабушка, теперь уже в заочном варианте. Отец мой русский, мать — русская латышка-лютеранка, муж — еврей, нерелигиозный.

А хронология простая: в 1918 г. наша семья (моя беременная мать и я, отец был еще на фронте) из тогдашнего Петрограда с его тяжелым бытом уехала на родину отца в город Любим Ярославской губернии. В 1924 г. мы, уже вчетвером, вернулись в Петроград.

Закончив свое повествование, я поняла по ходу дела необходимость стержневой персоны в нем и поэтому сконцентрировала его вокруг меня и моей семьи. Многие мои формулировки, конечно, покажутся спорными, но с этим я смирилась — это ведь личные воспоминания.

Ограничила срок моих записей, исходя из чьих-то умных слов: «лицом к лицу лица не увидеть». О дальнейшем напишут уже мои дети.

И теперь скажу все же о себе. Меня зовут Валентина Григорьевна Левина (урожденная Гурина). Мои родители — Адель Георгиевна Гурина и Григорий Семенович Гурин.

А. Г. родилась под Псковом в имении барона Розена, где мой дед, Георгий Адамович Лепин, был управляющим — не очень высокого ранга, по-видимому, так как переходил из одного имения в другое из-за своего горячего характера. А. Г. имела четырехклассное образование, после смерти моего деда в 1907 г. переехала в Петербург и здесь прошла вторую конфирмацию в лютеранской церкви. Работала горничной. Г. С. родился в Любиме и в 12-летнем возрасте был отправлен, как и другие его братья (в семье было десять мальчиков и одна девочка, некоторые умерли в младенчестве), учеником-поваренком в Петербург. Там и научился читать. Был поваром всю недолгую жизнь (49 лет), и даже поваром у орловского губернатора.

Оба родителя очень много читали. Мама перестала ходить в библиотеку только за год до смерти (в 75 лет), потеряв зрение на один глаз. Мы с сестрой научились читать еще до пятилетнего возраста, и я сразу же стала брать книжки в библиотеке, еще на толстом картоне. Это фон и истоки моих записок.

Когда я перечитала все мое повествование, то огорчилась тем, какая хронологическая мешанина из него получилась. Но что-то менять у меня нет возможности, слишком это большая и трудная работа. Приношу свои извинения.

МОЕ ПЕРВОЕ ДЕТСТВО

Любим

Я родилась в г. Вологде, но до 1918 г. жила с родителями в Петрограде; помню себя, по косвенным данным, лет с трех-четырех, уже в Любиме¹.

Город Любим под Ярославлем — теперь ему идет уже пятая сотня лет — был очень красивым, уютным, с деревянной резьбой на домах и воротах, с крепостным валом, холмистый, по нему протекали две полноводных реки — Обнора и Уча. В городке было четыре, кажется, церкви. Из них одна — собор, а другая на кладбище. В городе имелись больница, библиотека и какие-то учреждения. Окраина города за рекой называлась Заучье, и там дома шли по берегу. В центре города была более строгая, городская планировка улиц. Перед каждым домом — палисадник, вдоль улиц по обе стороны шли канавы, за каждым домом огород и иногда посевной участок.

В центре же города находилась базарная площадь с турникетом (вертушкой) у входа и пожарная каланча, т. е. здание с наблюдательной башней и колоколом. Довольно далеко за городом была железнодорожная станция.

По моим детским представлениям — я, правда, побывала там и в 1928 г. на каникулах — там была, естественно, и какая-то интеллигенция, — судя по гостям моего дяди Алексея Семеновича, старшего фельдшера Военно-медицинской академии, проводившего отпуск в своем доме в Любиме, — учителя, врачи, землемер и т. п.

В большие праздники жизнь замирала, в городе же главным развлечением юношей и мужчин была игра в рюхи (городки) на базарной площади. Не помню никаких пьяных на улице. На Пасху катали крашеные яйца с красных лоточков, поставленных под углом на половике или одеяле.

Из еды помню, наверное, лишь любимые мною тогда блюда: пирожки из рассыпчатого сметанного черного (ржаной муки) теста с самой разнообразной начинкой — крупа, картофель, лук с яйцом, морковь, творог. Но это все в редкие праздники. В пятилетнем лишь возрасте я восприняла как экзотический фрукт... помидор, привезенный моим отцом из Ярославля.

Вообще эти годы, 1918–1924, были голодными, и часто мы ели какие-то неопределенные супы с крупой (без мяса, конечно), забеленные разболтанным яйцом и молоком. Часто ели пареную в русской печи брюкву, коричневую и очень вкусную, сладкую. Вместо чая заваривали сушеную морковь, но я не могла пить этот отвар и запах его помню до сего дня.

Когда мама, на положении солдатки (отец на фронте служил делопроизводителем, писарем, так как был грамотным), должна была получить какое-то пособие² (валенки, например), то у нее уже был подготовлен деревенский покупатель, и тогда происходил обмен валенок на продукты. Для этого нужно было ехать к покупателю в деревню.

В 1920 (?) году вернулся с фронта мой отец, тогда встал вопрос о его трудоустройстве. До тех пор мы с мамой и сестрой жили в детском саду, где работала мама. В то время (1921 год?) в этот детский сад на время поселили детей, приехавших из голодающего Поволжья, я даже помню некоторых из них, как они сушили свои кусочки хлеба на плоских краях огромного жестяного чайника, стоящего на углях в изразцовой печке. Оценить состояние их здоровья я, конечно, тогда не могла, хотя одного рыжего мальчика прекрасно помню. Впоследствии я именно за рыжего и вышла замуж.

В детском саду была фисгармония (небольшой, похожий на фортепьяно клавишный духовой инструмент). Суббота была днем генеральной уборки, воскресенье — выходным. Но часто по субботам дети все равно приходили и просили впустить их в детский сад.

После возвращения отца мы получили квартиру в доме священника, где и прожили до возвращения в Петроград. Вначале отношения были сложными, так как большой дом священника разделили на четыре квартиры, одну из них дали нашей семье, вторую — семье работника ГПУ. Священник очень этому сопротивлялся, даже предварительно вырубил полы в этих двух квартирах. Но в дальнейшем отношения наши были очень хорошими. Священник вскоре умер, умерли две его дочери-учительницы от так называемой скоротечной чахотки, а его сын, «белый офицер», ударился в бег, впоследствии провел много лет в лагерях и вернулся из

них, потеряв жену (она вышла замуж еще раз) и сына (он погиб на фронте Отечественной войны).

Дом священника на краю города в Заучье стоял в парке, старая аллея от него вела к церкви. Дом был двухэтажный, резной, с резными верандами. Непосредственно вокруг дома был сад с пчелами и розами, за домом — прекрасный хозяйственный двор с добротными сараями. По старинному обычаю, в одном из них стоял, прислоненный к стенке, обитый темно-синим бархатом гроб — для матушки³.

Даже в таком комфортабельном доме мылись в русской печи, а потом мы отмывались от благородной сажи в большой металлической ванне, которая всегда стояла в нашей огромной кухне.

Русская печь — старинное отопительное устройство. Это было большое и высокое кирпичное сооружение, выбеленное, занимающее довольно большую часть кухни. Напоминало буфет, внутреннее сечение которого в 2–3 раза превышало его ширину. В передней ее части была открытая плита (шесток), продолжающаяся под сводчатым, довольно высоким потолком в глубину. Туда ставили чугуны с едой, чтобы дотушивалась или не остывала, так как большой проблемой было подогревание остывшей пищи. Яйца варили, например, завернув их в салфетку и опустив за верхний край самовара в кипящую воду.

В этой большой «норе» русской печи долго держалось тепло, там и мылись, как в бане. На верхней, не достигающей до потолка поверхности печи отогревались от мороза, и можно было спать. Сбоку от печи на некотором расстоянии от потолка шла широкая и глубокая основательная полка — полати. Там тоже можно было спать или хранить что-нибудь. Иногда от русской печи в жилые комнаты вдоль стен шли лежанки — теплые кирпичные же ящики (внутри них шли трубы с теплым воздухом), покрытые изразцами, продолжающимися и вверх на стену. На лежанках сидели или лежали. Вдоль стен кухни шла сплошная лавка, вроде сиденья длинного деревянного дивана, на ней можно было и сидеть, и лежать.

В нашем доме было четверо детей — мы с сестрой, внук священника и сын ГПУ-шника. Мы все были приблизительно одного возраста, очень дружили и во все времена года резвились в парке при доме.

Попадья, т. е. жена священника, так называемая «матушка», заботилась о нашем религиозном воспитании, много с нами возилась, разговаривала, мы с ней срезали розы, вынимали из ульев соты с медом и т. п.

Помню свою первую исповедь, может быть, потому, что я была смущена вопросами священника ко мне: «Не лгала ли ты? Не крала ли ты?» И т. п. Я обиделась и, конечно, отвечала отрицательно. Но священник тихо сказал мне, что я должна на все вопросы отвечать: «Грешна, батюшка». С этим я не могла согласиться и до сих пор помню мою реакцию на эту процедуру.

Подготовка к празднованию Пасхи и Рождества была приятной — крашение яиц (цветными шелковыми тряпочками, луковой шелухой), склеивание цепей из золотой и серебряной бумаги, вырезание снежинок и т. п., украшение елки.

С 1929–1930 гг. любые празднования Рождества и Пасхи, в том числе и соответствующие каникулы, были запрещены (в противном случае можно было лишиться комсомольского или партийного билета и получить общественное порицание⁴), и эти занятия тоже ушли. Пропагандистскую антирелигиозную работу стал вести Союз воинствующих безбожников⁵ — СВБ, как его все называли. Членом этого Союза с символическим денежным членским взносом должен был быть каждый, даже младший школьник. Почти все церкви были закрыты, многие снесены или заняты под склады, бассейны, катки и т. п.

В те же годы под предлогом введения непрерывного производственного процесса была узаконена «непрерывная пятидневная неделя» (четыре дня рабочих, пятый выходной). Но она распространялась и на непромышленную сферу тоже — учреждения, школы и т. п. Главной целью было сделать воскресенье рабочим днем... В результате у всех выходные приходились на разные дни, и ходило выражение «у всех не все дома». Этот режим все же продержался несколько лет.

Вернемся в Любим. До самого нашего отъезда оттуда в 1924 г. условия жизни там были очень трудными. Невозможно было получить какую-либо работу. Да и до революции все мужчины уходили на «отхожие промыслы». Ярославцы уезжали главным образом в Москву и Петербург и работали там поварами, официантами и т. п. Родители вместе со своими друзьями перепробовали тогда несколько видов мелкого предпринимательства (по современной терминологии): варили пряники, пекли пирожки и бублики, вязали туфли из марли с веревочной подошвой и т. п., но терпели убытки, так как покупателей не было.

Хозяйство наше мельчало — продали корову и купили двух овец, потом продали овец и купили одну свинью, но навыка хозяйствования никакого не было, на этом попытки и закончились.

Возникла мысль о возвращении в Петроград. В 1923 г. туда уехал отец, а в 1924 г. и мы.

Петроград — Ленинград

Итак, в 1924 г. мы вернулись в Ленинград⁶. Прежде всего, хочу вспомнить о наводнении 23-го сентября 1924 г.⁷ Это было стихийное явление масштаба наводнения 1824 г., описанного в пушкинском «Медном всаднике». Теперь, правда, этим никого не удивишь, так как на телеэкране мы наблюдаем мировые катастрофы и не такого масштаба... За период же наблюдений за петербургскими наводнениями такие большие наводнения повторялись раз в сто лет, в гидрологии их называют столетними.

В тот день мы с сестрой утром отправились гулять, но пожилая соседка по лестничной площадке остановила нас словами: «Девочки, сидите дома, сейчас будет наводнение». Откуда она это узнала, — неизвестно, так как массовой радиотрансляции в ту пору еще не было. Как я теперь думаю, наверное, стреляли пушки с Петропавловской крепости⁸ или гудели фабричные трубы, которые обычно гудели в 16.30 или 17 часов как сигнал окончания рабочего дня, а в особых случаях они гудели тревожным звуком в течение какого-то времени.

Мы эти слова, конечно, игнорировали, потому что они были для нас пустым звуком (мне было 8 лет, а Зое — 6). Мы спустились во двор и направились к воротам. Оттуда на нас, урча по бульжникам, наступала тяжелая волна. Мы бегом вернулись и, когда неслись по лестнице, за нами поднималась вода. Родителей дома не было, и из окна мы наблюдали картину наводнения. Особой жутости мы тогда не испытывали и с интересом смотрели, как по двору соседнего дома ездили красноармейцы на лодках и сетями ловили свиней, вырвавшихся из своих сарайчиков. Вечером нам стало страшно, так как родители не возвращались. Рано утром они пришли с Выборгской стороны, и мы уже вчетвером через весь город пошли к родственникам, которые жили в зданиях Военно-медицинской академии на Выборгской стороне. Город являл собой странное зрелище, которое я тогда оценить не могла, но хорошо помню. Главное из запомнившегося мне за этот длинный путь: вздыбившиеся дугой почему-то трамвайные рельсы и пирамиды из деревянных шести- или восьмиугольных шашек брусчатой мостовой⁹, разбухшие и выпершиеся из общего их полотна. Потом их так и не восстановили, конечно. Долгое время

ходили слухи о погибших — утонувших или провалившихся в открывшиеся канализационные люки.

Более поздние крупные наводнения уже не производили такого впечатления и не были такими колоритными, кроме наводнения 1956 или 1957 года, когда английский корабль чуть не выехал с Невы на набережную им. лейтенанта Шмидта¹⁰.

Итак, с весны 1924 г. мы в Ленинграде.

Надо сказать, что, по впечатлениям родителей, по сравнению с 1918 г. город помертвел и опустел. Остановилось все, и исчезла вся инфраструктура, как теперь говорят. Был голод, холод, болезни, какая-то жуть. Даже мелкие грабежи совершались в зловещем жанре — например, на Петровском острове работали жулики, которых называли не то «прыгунчики», не то «попрыгунчики». На ходулях, драпированные какими-то парусящими белыми одеждами, они пугали людей и грабили их. Этого я, конечно, не знала и упоминаю по рассказам старших.

В городе все замерло. В 1924 г. заводы и фабрики не работали, ходили немногие трамваи (№ 4 и 5 на Васильевском острове, № 12 на Петроградской стороне). На Петроградской стороне во дворах часто встречались легкие сарайчики с курицами и свиньями. Дрова достать было невозможно¹¹, а на бывшем лесопильном заводе Колобова (на Большой Зелениной улице у Крестовского моста) за 3–5 копеек можно было купить мешок (сколько унесешь) обрезков (реек и горбылей) от досок, тяжелых и мокрых, прибывающих сплавом по реке. Мешки носили за спиной на заплечниках, и часто высота этих реек сильно превышала рост человека. Рейки и горбыли сушили дома и всегда копили большой их запас с лета на зиму.

При этом заводе (я думаю, что он еще был частным) работал общественный клуб (вроде дома культуры более позднего времени), в котором каждый вечер показывали фильмы (черно-белые и немые) с Натой Вачнадзе¹², Бестером Китоном¹³, Чаплиным¹⁴, Мэри Пикфорд¹⁵, Тарзаном¹⁶ и др. Все это шло под жужжащий звук ручного киноаппарата. Детей пускали бесплатно, и мы с сестрой и другими детьми из нашей коммунальной квартиры проводили там иногда по 4–6 часов, стоя.

В настоящих кинотеатрах фильмы (немые!) шли под музыку — за роялем сидел тапер, импровизирующий или подбирающий музыку «на тему» в зависимости от сюжета. Иногда фильмам предшествовали «дивертисменты» — концертные номера или сценки.

Кроме того, существовал еще один жанр визуального развлечения — «китайские тени»: на малый экран (по-моему, в более

камерной обстановке) проецировались черные силуэты, в виде сюжетных неподвижных картинок (этот жанр, кажется, действительно китайского происхождения).

В те же годы появилась многочисленная категория детей, обозначаемых словом «беспризорник». Это были дети, осиротевшие в тяжелое послереволюционное время и годы гражданской войны или сбежавшие из голодающих семей. В большинстве своем они ездили по всей стране «зайцем» (безбилетниками) и в крупных городах жили в подвалах, люках и где придется, голодные, грязные, оборванные, в старых ватниках (клифтах) с чужого плеча, с черных лиц только сверкали белки глаз. Их пытались «вылавливать» и отправлять в специальные колонии и детские дома, но часто они сбегали и оттуда, отвыкнув уже от всякой дисциплины и режима. Это все показано, с долей лакировки, конечно, в старом черно-белом, первом звуковом фильме «Путевка в жизнь»¹⁷, песенку героя которого, беспризорника татарчонка Махтумки, мы все распевали: «У Махтумка мама нет, он одна на целый свет...» Также знаменита этим и книга Л. Пантелеева «Республика ШКИД»¹⁸, вскоре почему-то запрещенная, а фильм создан был только через несколько десятилетий¹⁹, с С. Юрским в роли ВикНикСора²⁰.

Из многих таких детей, прошедших тяжелую жизненную школу и не сломленных ею, сформировались крупные личности, с некоторыми из них я была хорошо знакома.

Домашние дети тоже росли совершенно безнадзорными. Даже мы с сестрой обожали съезжать по лестничным перилам, кататься на ручках дверей, отгалкиваясь ногами от стен, сидеть на подоконниках (3-й этаж!), спустив ноги за пределы окна и т. п. Наслышавшись от соседских деревенских детей о том, что из молока сбивают масло, мы однажды налили себе по бутылке молока из оставленного нам для еды, затем, сидя на сундуке, трясли эти бутылки целый день и были очень рады, получив по крохотному кусочку масла.

Но в те же времена такое свободное воспитание было, наверное, и благом для детей. Они всегда были заняты и много читали. Начиная с того, что во дворе все дети постоянно обменивались нумерованными выпусками «Приключений» сыщиков Ната Пинкертона и Ника Картера²¹. Очень любили читать старую хрестоматию Флерова, маленькие душевспасительные рассказы-притчи Л. Н. Толстого западали в душу посреди этого бедлама. Очень любили и постоянно перечитывали рассказы о животных канадского натуралиста Сэттона-Томпсона²² с авторскими рисунками пером на полях страниц. В советское время, по-моему, его не перепечаты-

вали²³. Наша книжка пропала (сожгли?) в блокаду и потом ни для дочери, ни для внучки мы не смогли ее нигде купить, так же как и «Крокодила» Чуковского²⁴: его, правда, мы с восторгом купили уже в нашем зрелом возрасте, а ведь мы его с детства знали наизусть. Был запрещен²⁵! Запрещен был и Киплинг²⁶, как «певец колониализма»... Но мы с сестрой еще успели почитать хорошие книги!

В старой хрестоматии было очень много самых разнообразных сведений. Детская писательница Л. А. Чарская²⁷ в своих романах тоже воспитывала благородные чувства, причем отзывалась и на злобу дня — у нее есть несколько книг о кавказской войне, а в основном писала о школьных буднях гимназий и пансионов. При советской власти ее имя стало нарицательно-отрицательным, книги ее были запрещены, и она, затаившись, прожила долгую жизнь и умерла — к удивлению многих ее читателей, проливавших горькие, а иногда и сладкие, слезы над ее книгами — не так уж давно, кажется в 1980-х гг., совершенно безвестной. «Витя Малеев в школе и дома» Н. Носова²⁸ явился, по-видимому, заменой книгам Чарской в варианте уже другой эпохи и с другими идеалами... Нашу дочь мы постарались уберечь от этой книги после того, как нам пришлось встретиться с культом ябедничества в ее школе.

В общем, мы читали без разбора и не по возрасту, начиная с переводных детских книг — «Лорд Фаунтлерой»²⁹, «Маленькая принцесса»³⁰, «Босоножка», романов Дюма³¹, Диккенса³², Марка Твена³³ и других, — и до школьных повестей Лукашевич³⁴, Желиховской³⁵ и всей русской классики. Мы постоянно перечитывали Лермонтова (как романтик, он тогда был ближе нам, чем Пушкин) и Гоголя. «Страшная месть» и «Тарас Бульба» мне были неприятны, хотя «Вия» читала спокойно, может быть, потому, что он был откровенно сказочным. Мы прочитали все книги на нашей семиэтажной лестнице. В одной из квартир была целая стена приложений к «Красной вечерней газете» — переводные романы Кервуда³⁶, Брет-Гарта³⁷, Конан-Дойля³⁸ и других иностранных авторов; в другой — полное собрание сочинений Горького; в третьей — огромное собрание ежегодных томов дореволюционного еженедельника «Нива»³⁹, популярнейшего и интересного издания, вроде «Огонька». Потом в школе была очень хорошая библиотека, открытая чуть ли не до 8 часов вечера. Еще мы посещали районную детскую библиотеку на углу Большого проспекта и улицы Красных зорь (бывшего Каменноостровского, потом Кировского, а теперь снова Каменноостровского проспекта).

Из собственного опыта я сделала вывод, что совсем не обязательно дозировать и фильтровать репертуар детского чтения. Мы с сестрой читали все подряд, и годам к 11–12 у меня, конечно, были вопросы к Мопассану⁴⁰, например, но я как-то боялась поверить в некоторые детали, инстинктивно оберегая себя от этих впечатлений. Естественно, что потом я многое перечитала и переосмыслила, но какая-то твердая база чтения и кругозора уже была заложена.

Забегая на целое поколение вперед, хочу в связи с проблемой детского чтения рассказать о нашем семейном неудачном опыте. В 1952 г. мы жили под Лугой на даче (между прочим, в том большом селе не было ни одной коровы, и мы все лето пили козье молоко и ели горький козий творог), где наша одиннадцатилетняя дочь Елена подружилась с более взрослой девочкой. Однажды она принесла от нее нашумевший роман Анны Коптяевой «Иван Иванович», о враче, отказавшемся сделать аборт своей пациентке.

Мой муж побелел при виде этой книги и прошептал мне: «На вопросы будешь отвечать сама...». После обеда Лена уютно устроилась на нашем соломенном общем ложе и стала читать. Через некоторое время я равнодушным голосом бросила фразу: «Ты не дочитаешь эту книгу до конца — такая скучища. Брось ее!» Она отмахнулась от меня со словами: «Что ты! Так интересно!» Вскоре она спросила: «А почему Иван Иванович отказался сделать ей этот оборот?» Тут я закричала: «Сначала научись читать, а потом задавай вопросы!» Она их больше и не задавала, то ли сама все поняла, то ли подруга ей объяснила... А что можно было ей сказать!? Тогда были другие времена...

Еще одно поколение вперед. Наша внучка Анна в более младшем возрасте прочла большой том записок А. Т. Болотова⁴¹, описавшего быт и даже этнографию российского провинциального дворянства в XVIII веке⁴². Я спросила ее, понравилась ли ей книга. Она ответила: «Да, скучно, но интересно».

Большую долю в нашем с сестрой времяпрепровождении занимало регулярное и многократное посещение определенных музеев — Эрмитажа, Русского музея, Музея связи (выставки почтовых марок), домика Петра Великого. Эрмитаж и Русский музей мы каждый раз обходили целиком и возвращались домой, на Петроградскую сторону, снова пешком, еле живые. Любовь к этим музеям, возможно, объяснялась невероятной тягой к рисованию у моей сестры. Между прочим, бумага была труднодоступна, дорога, и дети часто рисовали на полях газет и старых книг.

Во многих дворах и на пустырях имелись площадки с деревянными горками, качелями и гигантскими шагами (огромный столб с несколькими толстыми канатами, укрепленными на вращающемся устройстве на верху столба и заканчивающимися петлями-сиденьями. Усевшись в такую петлю, можно было разбежаться и бегать вокруг столба все с большей скоростью, поднимаясь иногда очень высоко и оглядываясь, не сшибет ли тебя бегун сзади). Много играли в другие подвижные игры: горелки⁴³, казаки-разбойники⁴⁴, лапту⁴⁵, крокет⁴⁶, серсо⁴⁷, прыгали со скакалками и через веревки, которые вращали два «ассистента», гвоздики, чижики, камешки, позже волейбол и баскетбол, пинг-понг (настольный теннис). У каждой девочки в кармане платья или передника был арабский мячик (плотный, резиновый, черный, небольшой), и при малейшей возможности (наличие голой стены или двери) начиналась игра в индивидуальном порядке или парами. В этой игре существовали определенные фигуры и правила, так что элемент соревнования присутствовал. Большие яркие резиновые мячи по цене были доступны немногим. Сами дети чинили или изготавливали мелкое спортивное оборудование — лапту, чижики и т. п.

Существовал репертуар и домашних игр: прятки, жмурки, фанты, живые картины, шарады, карты, лото, домино, пускание мыльных пузырей через расщепленную на конце соломинку и другие.

В каждом микрорайоне или на каждом участке летом работали так называемые детские площадки, где работали профессиональные педагоги, иногда даже довольно зрелого возраста; детей кормили, занимали играми, чтением, водили на экскурсии, часто загородные. И, мне кажется, любые дети туда ходили, и все там было бесплатно.

Стоит упомянуть, что во многих дворах были общественные туалеты, т. е. огороженные бетонными «ширмами» дыры в бетонной плите...

Старшие мальчики, вернее, — юноши более простого уровня, стояли вечерами в воротах и лузгали семечки со снисходительным видом. Я очень их боялась, хотя никогда с их стороны не было каких-нибудь выходок или сквернословия.

Острова (Петровский, Крестовский, Елагин, Каменный) были еще в запущенном виде, и мы в составе восьмерых детей нашей квартиры на Б. Зелениной улице, от 1 года до 12 лет, болтались там целыми днями. Район теперешнего Приморского парка оставался еще совершенно диким. Единственными оживленными местами на Островах были: яхт-клуб на Петровском острове (куда мы

десятилетиями потом ходили по воскресеньям на состязания яхт), собачий питомник на Крестовском и несколько санаториев на Каменном. Да еще до войны функционировал старинный деревянный Летний театр на Каменном острове.

Естественно, мы целыми днями ходили пешком, очень немногие могли позволить себе езду на трамвае, за 7 копеек станция. Каждый трамвайный маршрут разделялся на несколько станций, состоящих из нескольких остановок, обозначенных разными цветами билетов. Кондуктор кричал время от времени: «Станция розовым (или другим) билетам» и т. п. Каждый вагон трамвая имел две открытых площадки, с задней входили в вагон, с передней выходили. И это строго соблюдалось. Летом было очень приятно ездить на открытых площадках с бронзовыми и чугунными складными перилами-дверьми, красивыми решетками и т. п. Внутри вагона, с верхней продольной перекладины с каждой стороны свисали длинные кожаные или парусиновые петли, за которые держались пассажиры, оставшиеся без места. Сиденья были жесткие. Мы очень удивлялись, наблюдая в 1988 г. в Иерусалиме, как водитель автобуса впускает поодиночке пассажиров, сразу получает с каждого плату за проезд и, как только все сидячие места заполняются, закрывает дверь и уезжает. Его нисколько не интересует, сколько времени заняла эта процедура, хотя есть точный график его прибытия на каждую станцию.

У последнего вагона на наружной задней стенке укреплялась резиновая армированная трубка-гармошка для подсоединения второго вагона. В народе ее называли «колбасой» и, держась за нее, храбрецы-мальчишки ехали на нижнем выступе вагона. Милиционеры снимали «колбасников», так как иногда были и жертвы этого спорта. Но искоренить это было невозможно.

Новые, красные, т. н. «американские» вагоны появились перед войной, но у них уже не было такого красивого лица — они были закрытые, с центральным входом и двумя боковыми выходами.

А первый автобус в Ленинграде, под № 1, стал ходить в 1926 или 1927 г. Одна конечная его станция была на Рыбацкой улице на углу Малого проспекта Петроградской стороны, а другая — кажется, у Смольного. Детей весь первый день катали бесплатно, и мы, опять же всей квартирной оравой, ездили на заднем твердом диване из конца в конец до настоящей дурноты. Надо еще добавить, что мостовые (проезжая часть улицы) были главным образом булыжные или из деревянной брусчатки (до наводнения), а тротуары — из крупных диабазовых (горная порода) плит.

Как естественно для особ женского пола, совершенно не помню марок и фасонов автомобилей, кроме очень красивого автомобиля «Линкольн» с никелированной фигуркой бегущей собаки на капоте; это был длинный черный автомобиль мягкого контура. До начала 1930-х гг. в Ленинграде еще можно было проехать на извозчике или встретить битюга, ломовика (огромная мощная лошадь-тяжеловоз, часто с мохнатыми ногами) с грузовой телегой. Постепенно лошади исчезли из города.

В Петрограде, как и во всей стране, очень быстро начался НЭП⁴⁸ — «новая экономическая политика», с частичным допущением элементов капитализма, главным образом в области торговли и мелкого предпринимательства. В ход пошло слово «нэпман»⁴⁹. Но в те годы у людей не было денег, и масштаб цен и всяких выплат был очень низким — например, за 16-метровую комнату без ванной в коммунальной квартире мы платили 1 руб. 76 коп. Пособие по безработице маме платили 11 руб. и алименты на двоих детей 13 руб.

В течение некоторого времени в эпоху НЭПа существовали магазины от какого-то акционерного общества, торгующие дорогими иностранными товарами. Фильдекосовые и фильдеперсовы чулки, например, очень тонкие, из каких-то благородных шелковистых ниток, со швом и стрелками у щиколоток, стоили 3 руб. 50 коп. Но эти магазины просуществовали недолго.

Из цен в обычных магазинах помню: яйца стоили 50 коп. десяток, сыр — 1 руб. 60 коп. за 1 кг, т. е. 64 коп. за фунт (408 г), бутылка молока (0,4 л) — 28 коп., французская булка (половина современного батона) — 7 коп. Здесь же хочу упомянуть, что в ходу были такие основные названия видов муки: ржаная, белая, а также высшего сорта белая — крупчатка (от «крупчатая», т. е. очень мелкого помола).

Тогда уже со скрипом начали переходить на Единую международную систему мер и весов (десятичную, метрическую систему измерений, название ее не сразу устоялось и последнего я не знаю).

В то же время открыли магазины Торгсина (Торговля с иностранцами)⁵⁰, принимающие главным образом от нашего отечественного населения драгоценные изделия и даже лом золота и серебра. Взамен люди получали боны, на которые можно было купить в магазинах системы Торгсина промышленные и продовольственные товары. А таможенные пошлины на посылки из-за границы были такие высокие, что мы посылку из Риги с двумя детскими шерстяными кофточками и коробкой конфет не смогли выкупить, и она вернулась обратно.

Тогда уже в Ленинград нахлынуло много людей из провинции и вернулось много коренных петербуржцев. Жилищный вопрос решался методом «уплотнения», т. е. превращением отдельных (оттуда идет это понятие «отдельная квартира») в коммунальные (как и это понятие...), блестяще и точно описанный в «Собачьем сердце» Булгакова.

Безработица была фоном нашей жизни, все ходили на биржу труда «отмечаться».

Но конец НЭПа приближался, был провозглашен «Год великого перелома» (1928–1929)⁵¹.

Вначале кооперативные магазины стали вытеснять частные, понижая цену своих продуктов, например, бутылка молока продавалась там уже на одну копейку дешевле. Потом все пошло crescendo, и у частных хозяев магазинов, мастерских, парикмахерских и т. п. конфисковали их предприятия, а самих их лишили избирательных прав, которых долгое время практически и не было, так как никаких выборов еще не проводилось⁵². Таких людей именовали «лишенцами», и они были существенно ущемлены в своих правах — их не всегда и не всюду принимали на работу, их дети не имели права поступления в высшие учебные заведения (вплоть до 1935 г.). Поэтому, кто только мог, скрывал этот минус своей биографии, что тоже каралось. Долгоиграющий парадокс — лгать нельзя и правду сказать нельзя...

С ранних лет советской власти в анкетах всякого рода в числе прочих были две рубрики: «социальное положение» и «социальное происхождение». Вторая рубрика была очень коварной — на нее можно было ответить словами: из дворян, из священнослужителей, из мещан, из крестьян, из рабочих, из служащих и др. Спасительным был ответ «из служащих» — туда можно было запихнуть многих неудобных родителей или предков, но он, правда, именно поэтому многих кадровиков и настораживал.

Эти рубрики очень долго были в анкетах, которые заполнялись при поступлении на учебу или работу и т. п. Думаю, что они сохранились до времен Хрущева, но не ручаюсь за это. Кроме анкет, в отделах кадров хранились и автобиографии работника, и задачей каждого было не отступить от основного ее варианта при перемене места работы и составлении новой автобиографии. Поэтому дома хранили основной скелет этого документа.

Вскоре после революции начались совершенно новые семейные отношения, а именно уже в 1920-е гг. пошла мода на разводы, многие мужья и отцы покинули семьи, и в нашем классе осталось

только несколько детей с отцами. Почему-то у очень немногих детей были бабушки, а о дедах даже и речи не было, может быть, из-за потерь мужского населения в Первой мировой войне. В семьях часто росли двое-трое детей, единственных было мало.

Вообще началась эпоха дискредитации авторитетов, и в первую очередь это коснулось семейных отношений, т. е. авторитета родителей. Это проявилось даже в нашей, очень дружной семье, хотя определенные установки в ней были твердые: нам с сестрой не разрешалось ябедничать друг на друга, и мне было очень трудно играть пожизненную роль старшей сестры, хотя разница между нами была всего два года. Это имело и отрицательную сторону — Зоя была большая проказница, и когда я пыталась ее урезонить, говорила: «Все равно нам обeim попадет...». Если мы укладывались спать до 10 часов вечера, то нам разрешалось немного поболтать или почитать в постели, иначе мама тушила свет и уходила в кухню; позже нам категорически запрещалось читать за едой, хотя мама позволяла это себе, так как другого времени для чтения у нее не было, а когда мы говорили ей: «Да, а сама?», — она отвечала: «Когда будете сами, тогда и будете читать за едой». И действительно, когда мы стали старше, то под настольной лампой за единственным нашим столом были прислонены уже три книжки...

Телесных наказаний не было, запреты произносились только один раз и ничего нельзя было выклянчить, но ежемесячно выдавались карманные деньги (сначала по 20 коп. в месяц в младших классах, потом эта сумма увеличивалась), которые можно было истратить на что угодно — кино, сласти, тетради, книги и т. п. Еще мама была большой противницей «ходьбы по чужим квартирам», но это была трудная борьба, по-видимому, эта привычка заложена в генетике человека, теперь мы владеем такими понятиями психологии, как интроверт⁵³ и экстраверт⁵⁴. Кроме того, в чужих квартирах не следовало озираться кругом, как и оглядываться на улице и что-то пристально разглядывать. А соблазны были, у нас ведь была убогая и бедная обстановка...

В результате этой новой политики дискредитации авторитетов наша мама перестала относиться с доверием к самой себе и, возможно, поэтому наши отношения никогда не испортились, наши с сестрой мнения уважались и авторитет школы не подрывался. Правда, школа долго оставалась на высоте, и до сих пор школьные годы я считаю лучшими в своей жизни. Разочарования начались значительно позже, в более сознательном возрасте.

В 1928 г. с идеей превращения Советского Союза из страны сельскохозяйственной в страну индустриальную была объявлена мощная и универсальная программа «индустриализации страны», хотя еще бытовал и лозунг «смычка города с деревней»⁵⁵. До того еще была проведена электрификация страны, с лозунгом «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны», т. н. план ГОЭЛРО⁵⁶, под которым мы до той поры росли и воспитывались.

Новая программа действительно дала колоссальный толчок возрождению и развитию промышленности и астрономически увеличила число рабочих мест. Все воспрянули духом и телом. На этой волне началось переименование восстановленных старых предприятий с использованием прилагательного «красный». Например, бывший Путиловский завод был переименован в «Краснопутиловец» (затем в «Кировский»); другие названия — «Красное знамя» — крупнейшая фабрика трикотажных изделий; «Красный Октябрь» — бывшая кондитерская фабрика Жоржа Бормана, была даже дразнилка «Жоржка Борман — нос оторван, вместо носа папироса, кто возьмет ее без спроса, тот останется без носа»; «Красный парус» — швейная фабрика парусиновой спецодежды; «Красная нить» — ниточная фабрика; «Красный треугольник» — огромный комбинат резиновой обуви; «Красная Бавария» — пивной завод; «Красная заря» и т. п.

Острили даже, что есть завод «Красная синька», но я не уверена в этом, хотя это и вполне было возможно на волне тогдашнего энтузиазма...

Провозгласили первую пятилетку этого плана, а потом и лозунг «Пятилетка в четыре года». И понеслось!

Таких пятилеток было, кажется, четыре. И, как правило, они выполнялись в заведомо сокращенные сроки. Была даже такая припевка: «Пять в четыре, пять в четыре, пять в четыре, а не в пять...».

Все были счастливы и вдохновлены, трудились и верили, что они работают на построение социализма, а потом и коммунизма.

Но параллельно шла и программа «коллективизации сельского хозяйства», проводимая грубо, безжалостно и кроваво. Об этом много теперь написано. Обобщественные хозяйства получили официальный статус коллективных, и их стали называть «колхозами»⁵⁷. По аналогии, хозяйство, организованное одной из школ на Крестовском острове для себя в селе Толмачево, называлось «школхоз». Еще возник новый вид сельскохозяйственного производства,

по структуре близкий к промышленному предприятию, называемый «совхоз»⁵⁸. Сразу же пошли шуточки по этому поводу. В газете, например, была карикатура, где совхозник говорит корове: «Удвой удой, утрой удой, не то пойдешь ты на убой»...

Надо сказать, что во многих городских семьях это имело большой резонанс, младшие и старшие поколения не понимали друг друга (подавляющая часть населения состояла из деревенских выходцев), в обществе царил раскол: многим пришлось скрывать свое «кулацкое» происхождение. Зажиточный крестьянин, имевший больше одной (?) коровы или лошади, да еще и нанимавший сезонных батраков, считался эксплуататором народа, мироедом и кровопийцей (слова из плакатов, карикатур и т. п.) и получил сначала кличку, а потом и официальное название «кулак», отсюда и понятия «кулацкое хозяйство», «раскулачивание», «кулацкие замашки» и т. п. Проводились массовые конфискации имущества у кулаков, аресты, высылки в дальние районы и расстрелы. Некоторые молодые люди даже отрекались от таких родителей и вообще родителей «лишенцев».

Эти карательные меры дали основную часть рабочей силы для проведения крупномасштабных планов.

Вернемся снова к некоторым деталям петроградско-ленинградского быта 1920-х–1930-х гг.

В домах жили дворники — в отдельных квартирах 1-го этажа, «дворничких», по много лет. По какому-то удивительному обычаю распределения профессий по национальному признаку, большинство дворников были татарами (китайцы держали прачечные, немцы — булочные, финны производили и доставляли молочные продукты и т. п.). На лестницах и дворах было чисто, ранним утром улицы те же дворники из тяжелых пожарных шлангов поливали водой. Двери парадных входов и ворота на ночь запирались, а позвонив дворнику в звоночек у ворот, мы через некоторое время попадали в дом. Иногда он позволял себе проворчать: «Где шатался-болтался?!» А в послевоенные времена дворники в передниках и с бляхами на груди и свистком, обходящие свой квартал после 1 часа ночи, открывали дом уже снаружи.

Начала развиваться сеть столовых с очень умеренными ценами за обед из трех блюд (я помню лишь суп, щи, борщ — на первое, котлеты или рыба с картофелем или макаронами — на второе, компот или клюквенный кисель — на третье). Часто в столовых играли музыканты, двое или трое, и я даже мечтала быть такой скрипачкой. Я вообще так хотела учиться музыке, что, читая

«Красную вечернюю газету», которую вечером приносили наши соседи-парикмахеры, в отделе продаж находила рояли и рассчитывала, сколько лет нам нужно копить деньги для покупки рояля или пианино. В семье мужа потом был рояль, но мне тогда уже было не до музыкальных занятий.

В те тяжелые годы еще сохранялись остатки какой-то организации быта: при каждом доме была общественная прачечная с большими котлами для кипячения белья, корытами и т. п. В квартирах белье не сушили, боялись сырости. Чердаки домов были разделены перегородками на секции с одним ключом для нескольких квартир. В первые же дни войны вышло срочное распоряжение властей снести эти перегородки из соображений противопожарной безопасности, и все население домов принимало в этом участие.

На верхней площадке нашей лестницы до самой войны стоял огромный стол-каток для катания влажного белья перед глажением. Льяные ткани катали намотанными на круглую толстую палку при помощи длинной, узкой, крупно-рифленной деревянной лопаты (валька), иначе их трудно было гладить. Каток сожгли в блокаду.

Утюги были *паровые*, в которых красные угли подогревали емкость с водой, дающей пар (они употреблялись главным образом портными); *угольные* — полые с продырявленными стенками для того, чтобы, покачивая утюг, можно было раздувать угли, лежащие внутри утюга; и сплошные *чугунные*, которые нагревались на огне до определенной температуры (если послушенный палец, быстро скользнувший по дну утюга, вызывал шипение влаги, то таким утюгом пора было гладить), обычно они работали в паре — одним гладили, другой подогревался.

Еще долгое время для стирки употреблялось «жуковское мыло», по имени фабриканта Жукова (белые кубики мыла весом в 200–400 г с голубыми прожилками добавленной к мылу синьки). А синьку порошком заворачивали в тряпочку и ею помахивали в воде, подкрашивая ее.

Более закаленные и изобретательные хозяйки во времена Отечественной войны в 1941 г. использовали для стирки керосин и канцелярский клей, в качестве добавки к небольшому количеству дефицитного мыла. По «сарафанному радио» эти рецепты очень быстро распространялись.

Еще хочется сказать о послереволюционном быте города. На Петроградской стороне существовали тогда два рынка: Сытный, выходящий на Кронверкский проспект (потом проспект М. Горького, а теперь снова Кронверкский), и Дерябкин, располагающийся

на Малом проспекте, между Колпинской и Гатчинской улицами. Впоследствии на его месте возвели огромный магазин рыбных продуктов «Океан». На Васильевском острове помню Василеостровский рынок между 5-й и 7-й линиями на Большом проспекте (Андреевский) и павильон рядом с ним «Стеклянный рынок», также на бульваре Большого проспекта. На Малом проспекте, в районе 14–15 линий, был еще один небольшой рынок. Большой Стеклянный рынок был в конце Большого проспекта. Теперь они все снесены, и на месте Василеостровского рынка построен новый рынок из нескольких современных зданий, а старый каменный рынок законсервирован и разрушается... Есть еще рынок на Шкиперке.

Большого разнообразия продуктов на рынке не было: на Петроградской стороне работал магазин конины, главным потребителем которой были татары, а их было много в городе. Мы тоже ее употребляли, хотя это мясо было жестким, и его предварительно вымачивали в воде с уксусом. Мы имели с рынком постоянные отношения, обменивая на молоко лишний хлеб, который в те годы выдавался по карточкам (других продуктов это тогда не коснулось). Молочные продукты на рынке продавали главным образом финны из пригородов, преимущественно из Гатчины. Как ни странно, эта традиция живет и до сих пор, в 2000 г.

На рынках можно было купить что угодно, в том числе наскоро сшитые готовые платья (иногда оказывалось, что в них нет припуска на пройму и т. п.), и очень ходовым товаром были «спорки» — споротый с ваты и подкладки пальто его верх, который можно было еще раз перешить, иногда и перелицевать на другую сторону.

Так как желудочная память — очень стойкий вид памяти, не могу не упомянуть об ассортименте белого хлеба в булочных, которых было очень много в Ленинграде, немецких по старой традиции. Каждый вид изделия был всегда строго стандартен, и к их числу относились: черный (ржаной), полубелый, пеклеванный, стародубский, горчичный, боярский, бублики, баранки и многое другое. Очень вкусный был шоколадный лом, значительно более дешевый, чем плиточный шоколад, естественно. Очень популярны были леденцы старой фирмы «Ландрин» и подушечки с вареньем фирмы «Монпансье». Фирм уже и не было, но до самой войны эти конфеты сохраняли свои названия. Мороженое возили на тележках в голубых ящиках, внутри которых стоял большой бидон, обложенный льдом. Мороженое ложкой намазывали на круглую вафлю с именем и прикрывали другой вафлей с именем (в одной порции

было мужское и женское имя), это всех забавляло. Перед войной появился новый вид мороженого, фасованного, «эскимо» (от английского Eskimo-rie) — столбик мороженого на палочке, облитый шоколадом.

Интересным элементом того рыночного быта являлись интеллигентные дамы, которых называли «старыми барынями» или «бывшими» (ходило выражение «из бывших»). Прямо на земле, на скатерти или куске материи они раскладывали всякие мелочи (будущий антиквариат): кружева, веера, лайковые перчатки, бусы, бинокли и лорнетты, разрозненные части сервизов, рюмки, бокалы, вазочки, вазы для цветов и т. п.

Такие же «бывшие», робкие и застенчивые дамы ходили по дворам и пели романсы, оперные арии и просто песенки. Из окон высовывались зрители и некоторые из них бросали певцам монетки, завернутые в бумажку. По дворам же часто ходили мужчины, опять же татары, с мешками. Они кричали: «Халат-халат, костей-тряпок, бутылок-банок...». Им спускали всякий хлам, и иногда они за него что-то и платили. А мальчишки кричали им вслед: «Халат-халат, портки горят...». У мужчин-цыган была тоже своя песня: «Лудить-паять, кастрюли-чайники...». Всегда можно было наточить ножи и ножницы, здесь уже пели: «Ножи-ножницы точить...». Ходили также и стекольщики с ящиком стекла на плече и своими призывными воплями.

Я уже говорила, что с продовольственными товарами и топливом было плохо. Все подвалы, как и чердаки, были разделены на секции по номерам квартир для хранения дров. Дворы тоже, — у нас вплоть до 1962 г., были заняты поленницами дров, и только по каким-то ущельям между ними можно было пробираться к своей лестнице. Поленницы обозначались по принадлежности, и из этого можно заключить, что воровства в те тяжелые годы было неизмеримо меньше, чем теперь.

Ордера на получение дров выдавались главным образом в ЖАКТах⁵⁹ (теперешние РЭУ). Торфяные брикеты стали продаваться после войны, покупать их удавалось через посредников-дворников, у которых были казенные тележки; хранили брикеты прямо в квартирах, где долгое время в передних были ящики для дров, но приходилось часто вынимать из печей и выносить из квартиры шлак.

Кухонные плиты мало топили, так как они требовали много дров. В кухнях еду готовили на *керосинках* (круглый резервуар с керосином, от него поднималась овального сечения труба со слюдя-

ным окошечком и с площадкой для кастрюли, чайника или сковороды. Из резервуара зубчатыми винтами подавались два широких фитиля, насыщающие сгорающий с них керосин по принципу керосиновой лампы; их приходилось подрезать, чтобы они не коптели, и следить за уровнем керосина, иначе фитиля сами сгорали); на *керогазах* (род керосинки, но с элементом более горячего газового пламени) и *примусах* — с круглого резервуара шла трубка с узким отверстием наверху и тарелочкой для спирта, денатурированного или в кубиках. Спирт служил для запала огня. Задача состояла в том, чтобы почаще прочищать это отверстие специальной «примусной иглой», насаженной под прямым углом на ручку иглы. Керосин подавался насосом сбоку, и приходилось его время от времени подкачивать. Три или четыре ноги шли вверх и переходили в площадку для кастрюль.

Более совершенной системой таких приборов был тогда керогаз — нечто среднее между керосинкой и примусом: пламя содержало большой процент газа, более горячее, копоти от него не было. Он был самым «невредным» из этих трех типов, примус ведь шумел (часто в кухне их было несколько), а керосинка коптела, и пламя ее было слабым.

Газовые плиты еще до войны были только в нескольких местах города, например, в районе Николаевской улицы (улица Марата). Моя сослуживица там жила и, когда у них был ремонт и был отключен газ, она приходила на работу вся в саже, пахла керосином и говорила: «Как вы все можете жить с керосинками?!» В большинстве районов города газовые плиты были включены в 1950-е гг.

В те годы вопрос с керосином обстоял очень серьезно. В быту его требовалось очень много: кроме приготовления пищи, он был нужен и для освещения — во многих квартирах в 1920-е гг. еще не было восстановлено электрическое освещение, и мы пользовались керосиновыми лампами. А чтобы получить пять литров керосина «в одни руки»⁶⁰, иногда требовалось простоять очередь длиной в неделю, сменяя друг друга. Одна женщина, например, говорила: «Ну, я уйду часика на три, обед приготовлю, а потом вас отпущу». Иногда даже знакомства и дружба возникали на этой почве.

В нашем большом трех-флигельном доме была общая домовая кухня: в огромной комнате первого этажа топилась огромная же плита (метров 2×6 примерно). На ней можно было сварить обед копеек 5 за кастрюлю, взять чайник горячей воды за 2–3 коп и т. п. Потом приходилось горячие кастрюли нести домой через

бульжанный двор и лестницы, иногда до седьмого этажа. Но для многих это было спасением.

Питание было довольно убогое и нерациональное, хотя в довоенных овощных магазинах продавались прекрасные соленья-маринады и варенья, вплоть до моченых яблок. Свежие яблоки, главным образом антоновские, можно было впрок купить целым решето, кажется 2 руб. решето, где они были пересыпаны опилками и долго сохранялись. Все эти фрукты-овощи были очень хорошие и надежные, об отравлениях — скажем, грибами — никогда не слышали.

В основном ели каши, картофель, макароны, рыбу и мясо. Субпродукты, говоря языком товароведов, — печенка, почки, мозги и т. п. — были значительно дешевле самого мяса. В провинцию постоянно посылали селедки и конфеты.

Отдельно хочу упомянуть об облике пивных того времени. Их было много, и это были вполне благопристойные места, где мужчины могли выпить пива, съесть горячие сосиски с тушеной кислой капустой, почитать разные газеты, которые на длинных палках с ручкой лежали на столах, обсудить не торопясь все новости с соседями по столику. Выпивших лишнее немедленно проводжали на улицу. Это были своего рода клубы, которые недурно было бы возродить и теперь. Я знаю все это, так как в нашем доме на Б. Зелениной улице имелась такая пивная с черным ходом на нашей лестнице.

С ликвидацией НЭПа и началом коллективизации с продовольствием стало значительно хуже, и мама иногда приносила какие-то непонятные продукты. Однажды это был какой-то сплав из сахара, конфет, круп, макарон и всякой другой бакалеи. Мама с виноватым видом и сомнением на лице поставила это на стол. Ей пришлось объяснять нам, что сгорел продуктовый магазин, и сплавившиеся продукты продавались по какой-то условной цене. Мы назвали это «пожарными конфетами», и с тех пор всякую сомнительную еду называли пожарной. Как видите, юмор в нашей жизни тоже присутствовал, как во всякое трудное время, иначе ведь и не выжить.

Теперь я добавлю немного о нашей соседке Ефросинье Ефимовне; у нее было семеро детей и муж, тихий пьяница-парикмахер, у которого была еще одна страсть — чтение. Они занимали одну комнату в 20 кв. м. К ним постоянно приезжали родственники из-под Твери и из Белоруссии и, как правило, оставались навсегда. На ночь на полу раскладывались сплошняком матрасы, и так они все

спали. Несмотря ни на что, Е. Е. и все ее окружение всегда пребывали в хорошем настроении, не было ни скандалов, ни претензий или упреков, а Е. Е. всегда пела арии из опереток или опер. До революции она часто бывала в Народном доме, который располагался на месте будущего Театра им. Ленинского Комсомола в парке им. Ленина (бывшем и нынешнем Александровском парке), простирающемся от проспекта Добролюбова до Каменноостровского. К нему примыкали «американские горы» — деревянное сооружение с подъемами и спусками, на которых с огромной скоростью носились вагонетки с публикой. Визг и крики стояли невообразимые. «Горы» сгорели перед Отечественной войной. По рассказам Е. Е., там было много и других аттракционов, например «кривое зеркало». Еще до революции «Народный дом» был настоящим источником культуры для простого народа, и не только. Кроме примитивных развлечений, там давались оперы, оперетки и другие театральные представления, проходили концерты, гастролы и т. п. Была библиотека. С 1950 г. вместо него там разместился кинотеатр «Великан».

Е. Е. пела целыми днями и попутно рассказывала содержание опер и опереток. Готовить еду она, естественно, не успевала, не выпуская иглу из рук, так как была дешевой портнихой... В кухне на столе часто стояла огромная квашня с тестом, и тот, кто был голоден, сам жарил себе оладьи на керосинке. Я помню случай, когда десятилетний Бобка, придя с улицы, собрался нажарить оладий, но никак не мог найти поварешку для теста. Недолго думая, он своей грязной ручонкой стал швырять тесто на сковороду, нажарил себе порцию оладий, съел их и ушел...

И все дети этой семьи, не считая Бобки, погибшего в блокаду, получили семиклассное образование, профессии и семьи, никто из них не спился, все дружили и заботились друг о друге (отец погиб в блокаду).

В связи с этой семьей мне вспомнилась интересная деталь: их отец происходил из деревни под Тверью, где один из самых старых жителей был их дед Левонтий. По его имени всех его потомков называли Левиными, хотя фамилии у них были уже разные, у наших соседей — Смирновы. Мы не сразу в этом разобрались и отваживали людей, спрашивавших в дверях, дома ли Левины. А я сама стала потом Левиной...

Еще об этой семье. В середине 1930-х гг. вышло постановление о видах пособия при рождении седьмого ребенка в семье⁶¹, деталей его я не знаю. Ефросинья Ефимовна и Василий Иванович

из последних сил родили еще одного сына. Но это был так называемый «последыш», да еще от отца-алкоголика, и он до четырех лет не ходил, а во взрослом состоянии у него были патологически короткие ноги. А блокаду он пережил...

График дня по сравнению с Москвой у ленинградцев был сдвинут: в Ленинграде очень поздно ложились спать: чуть ли не в 11 часов вечера и даже позже кто-то мог зайти «на огонек» без всякого предупреждения (да и телефоны на Васильевском острове восстановили только в 1950 г., и не во всякой квартире города тогда был телефон) и выпить чай с бутербродом, наслаждаясь беседой иногда до часу ночи. Я не могла тратить все мои вечера на эти посиделки, и у меня была целая градация занятий, в зависимости от «престижа» и близости гостя к семье — от вышивки и вязанья до штопки и починки белья. А при одном госте, как мы смеялись, «можно было бы и ноги мыть, да совести не хватает». Постоянную нашу приятельницу мы называли «каменным гостем»⁶², так как она лишь в 0 часов 55 минут начинала судорожно надевать пальто и собирать свою сумочку, боясь, что не успеет выйти на улицу до закрытия парадной в 1 час ночи.

Магазины закрывались до войны очень поздно, многие работали до 23–24 ч. А после концерта в Филармонии, в 1940-е — 1950-е гг. можно было зайти в «кулинарию» (как говорят мои родственники, этот отдел назывался «демонстрационный зал магазина фасованных товаров») рядом с филармонической кассой, купить свежесваренную гречневую кашу (дефицит!) и унести ее домой в бумажном пакете или зайти в кондитерскую «Норд», переименованную в эпоху борьбы с космополитизмом⁶³ в «Север», и купить там лучшие в Ленинграде пирожки. А эти слоеные пирожки с мясом по 1 руб. 25 коп. за штуку были там еще вкуснее пирожных!

В городе работали магазины колониальных товаров, на Большом проспекте Петроградской стороны, например. Там продавались чай, кофе, специи, лимоны и апельсины, сидящие в гнездышке из кружевной бумажной салфеточки. Были китайские прачечные, и по Петрограду ходили китайцы с длиннющими косами, одетые в синие (выкрашенные натуральной краской «индиго») костюмы — просторные штаны и куртки.

Медицинское обслуживание было безотказным и целиком бесплатным. В районных поликлиниках часто подолгу работали крупные специалисты и профессора. Лекарства долгое время были бесплатными и изготовлялись в течение двух часов, если не меньше.

Мази помещали в круглые или овальные коробочки из тонкой белой дранки, к бутылочке или коробочке приклеивалась собранная в гармошку копия рецепта.

В каждой школе был свой постоянный врач, который ежедневно там бывал. Детей регулярно осматривали, измеряли и взвешивали, часто фигурировали слова «ребенок недостаточного питания» или «бледные слизистые» и т. п. Детей с увеличенными лимфатическими железами направляли в туберкулезный диспансер, санаторий. На Петроградской стороне такой диспансер занимал очаровательное здание особняка, снесенного при строительстве станции метро «Петроградская». Я даже помню тамошнего врача Елену Владимировну Минервину, опекавшую меня в течение нескольких лет. Все ленинградские дети тех лет росли на рыбьем жире (и часто давали друг другу советы, чем лучше заедать отвратительный вкус рыбьего жира — сладким или соленым), препаратах железа, фитине, хлористом кальции. Взрослые лечились очень мало, о повышенном артериальном давлении никто понятия не имел, разве что изредка говорили о том, что кто-то умер от разрыва сердца, что какого-то старика «хватил удар» или «его Кондратий хватил» или «у него Кондрашка»... Только в последнем десятилетии, пожалуй, почти в каждом доме появился тонометр, и все сами справляются с этой, как и с многими другими медицинскими проблемами, переводя их на почти бытовой уровень.

До самой войны в Ленинграде в любое время можно было вызвать частного врача на дом. В каждом микрорайоне такие люди были известны — доктор Кустря у Тучкова моста, на Петроградской в нашем квартале жил детский врач Роговин, на Васильевском — детский врач Брудер.

Стоит отметить, что в 1920–1930-е гг. на улице часто встречались горбуны (результат раннего туберкулеза позвоночника), люди с пляской святого Вита (хорея, ревматическое заболевание нервной системы, гримасы и подергивания мышц), корявые или рябые (впадинки на коже лица, оставшиеся после язвочек натуральной оспы), и люди с проваленными носами (сифилис, или «французская болезнь», как его называл народ), кривоногие, в основном дети (рахит, или «английская болезнь»).

Еще добавлю о модах 1920-х гг., хотя их в сущности и не было. Донашивали старую дореволюционную одежду. Шляпы и шапочки дамы и девушки глубоко надвигали до самых бровей. Явную косметику тогда не употребляли. Волосы завивали, закручивая их на ночь на папильотки (тряпочки или бумажные жгутики),

или завивали их горячими, нагретыми на керосинке металлическими щипцами. Бурно вошла в моду и стрижка, но многие девочки еще носили косы, доходящие часто до пояса, а изредка встречались косы, доходящие до колен, одна такая коса на всю школу, например. Талия не была уже в моде, платья шили с опущенной линией пояса и кушаками на бедрах. Если кушак был на талии, то эту особу презрительно называли «старой барыней». Многие носили белые или серые полотняные туфли или черные прюнелевые (блестящая материя, вроде так называемой «чертовой кожи»). Поверх тонкой обуви надевали галоши или ботики, резиновые или суконные, состоятельные дамы надевали на туфли высокие светлые фетровые ботики с кожаной подошвой и углублением для каблука. Их чистили черствым белым хлебом. Никто в уличной обуви в комнаты не входил, а в чужом доме снимали только галоши или боты, естественно.

Здесь еще стоит сказать об утепляющих деталях туалета: гамаша — теплые чулки без подошвы, на т. н. штрипках, тесемках под подошвой у каблука, чтобы гамаша была натянута; гетры — суконные накладки, надевающиеся поверх обуви и доходящие до щиколотки или еще выше, которые носили мужчины; трикотажные толстые рейтузы, вроде современных колготок, носили главным образом дети.

Капроновые чулки, на моей памяти, появились около 1950 г., и одну пару носили по несколько лет. Потом они стали разнообразнее — со стрелками вдоль заднего шва чулка или с «черной пяткой», выступающей на щиколотку. Одну нашу приятельницу, большую интеллектуалку, но не потерявшую при этом женственности, в Институте цитологии прозвали «синим чулком с черной пяткой» (Нюэми Фельдман).

Очень модные и «передовые» дамы в начале 1920-х годов начали носить очень узкие и длинные юбки с «запахом», которые остряки называли «мужчинам некогда».

Трико дамское еще не пришло, и дамы и девочки носили панталоны на тесемках или (дети) на лифчиках с пуговицами по поясу; резинок или вздержки еще не было. Панталоны бывали и очень нарядные — тонкие, с кружевами и оборками.

На уроках физкультуры школьницы носили шаровары — сборчатые широкие сатиновые штаны синего или черного цвета, доходящие почти до колен, уровень их постепенно повышался.

Денные нижние сорочки, часто с кружевами или вышивкой, были с глубоким круглым вырезом, и только позже стали носить

их на узких бретельках. Ночных сорочек практически не было, и часто вместо них употребляли выношенные летние платья или к денной сорочке добавляли ночную кофточку из фланели или бумазеи (с односторонним начесом). Бюстгальтеры, тогда называемые лифчиками, были длинные и застегивались спереди. Потом девочки стали вязать себе бюстгальтеры из черных катушечных ниток. Модно было в верхнем прорезе блузки или платья показывать верхний край вышитой сорочки. У одной шестиклассницы в мои школьные годы сквозь белую блузку просвечивали две черные ласточки на фоне белого бюстгальтера, и мы считали это верхом неприличия. За бюстгальтер, как когда-то за корсаж, клали носовые платки и т. п., так как сумочек молодые девушки тогда не носили.

Более бедные девочки носили простые тонкие нитяные черные чулки, более состоятельные — чулки «в резинку», тоже черные. Я часто штопала свои чулки на маленьком глобусе...

Формы в школах тогда не было, и дети носили верхние халатики или длинные верхние блузы на кокетке, т. н. «толстовки», какие могли им сшить дома.

Зимы в те десятилетия в Петрограде-Ленинграде были еще очень холодные, и многие носили валенки, иногда подшитые кожей, и башлыки. Башлык — это отдельный капюшон из тонкого сукна, который надевался поверх шапки и длинными концами легко завязывался под воротником. Обычно он был цвета беж или белый. Теперь мы его видим лишь на кавказцах в танцевальных ансамблях.

Как ни убога была мужская мода, но тогда выделялись бекеши (то ли остатки форменной военной одежды, то ли отзвуки кавказских веяний) — серые суконные верхние пальто с отрезным облегающим верхом и сборчатым низом, высоким стоячим воротником, опущенным обычно серой мерлушкой, каракулем.

Шапки мужчины носили нескольких основных фасонов: ушанка («треух») — шапка с опускающимся вниз при морозе отворотом, с продолжающимися под подбородком двумя полосками с завязками; финка — такая же шапка, но без полос с завязками; папаха — шапка из меха, главным образом каракуля, покроя мягкого большого мешка, надеваемая поперек головы и набок, и более твердого каркаса шапка с проломом, надеваемая вдоль головы; кубанка — круглая кожаная шапка с низким меховым бортом и плоским верхом; фетровые шляпы стандартного фасона с проломом и полями разной ширины в зависимости от моды; кепки и

фуражки. Береты мужчины стали носить после войны. Летом мужчины носили соломенные шляпы, полотняные кепки, фуражки и даже тюбетейки. После революции в Китае⁶⁴ в СССР хлынули шляпы из так называемой соломки и очень долго были в моде.

Особенных сезонных различий в обуви не было, и в большинстве случаев у каждого человека имелась лишь одна пара обуви — у девочек более высокие сапожки на крючках или шнурках или баретки — более глубокие туфли со шнуровкой на подьеме. Летом многие молодые люди носили во всех случаях жизни гимнастические туфли на гладкой лосевой подошве, т. н. «спортивки». В студенческие годы я сама носила купленные в Торгсине пляжные прорезиненные туфли, белые с голубой каемкой, и ходила в них даже в Филармонию.

После войны пришлось щеголять в босоножках на деревянной подошве с поперечным разрезом и с верхом из двух широких перекрещивающихся кожаных полос. Я их тоже носила, и они были удобными, но с громким шлепающим призвуком...

Долгое время молодые люди обоего пола, также во всех случаях жизни, носили футболки (трикотажные рубашки с отложным воротником и шнуровкой вместо застежки, цветные, с воротником и манжетами другого цвета и с широкими цветными полосами) и ковбойки (верхние рубашки из фланели или бумазеи клетчатой расцветки). Много и долго носили платья из торшона — шершавой прочной рыхлой материи (торшон — по-французски «тряпка»), практичной и красивой с крупным клетчатым рисунком.

Из материй тогда продавались (изредка!): *бельевые* — полотно, коленкор, мадепалам, кальсонное полотно, батист; *для блузок и платьев* — ситец, сатин, маркизет, фланель, бумазея, торшон, шотландка (в крупную цветную клетку), репс, лионез (мерсеризированный, шелковистый репс) и др.; *для костюмов и пальто* — сукно, драп, габардин, вельвет, шевиот и бостон, надолго внедрившийся в наш быт при шитье и мужских, и дамских костюмов универсальной носки. Во время войны наш родственник привез из Таллина платье для своей жены, и мы никак не могли определить вид этой мягкой, рыхлой и красиво падающей материи. Через несколько лет мы поняли, что это был штапель, еще не известный нам; из *шелковых* материй было только шелковое полотно, крепдешин, файдешин и креп-жоржет.

Трудности с покупкой материй превратились в постоянную проблему; еще в 1980-е гг. мой муж носил сшитые мною для него трусы из красного с зеленым и белым сатина, вдоль полотна кото-

рого на полосе шел такой текст — «Олимпиада-80», хотя он в ней не участвовал... Синего и черного сатина было не купить!

Перед самой войной начала развиваться спекуляция материями, но порядочные люди стеснялись признаваться в этом даже друзьям, это было стыдно.

А за материей для пеленок будущему ребенку мы с мужем стояли все лето 1940 г. в очереди на Андреевском рынке, получив по 10 м колленкора и фланели. И с соседкой по очереди мы встретились зимой 1941 г., будучи эвакуированными в г. Киров, а дети у нас уже были...

Сшить что-то было очень трудно, так как портних облагали налогом, и они принимали заказы только по очень надежной рекомендации, боясь предательства со стороны соседей. А швейных ателье тогда уже и еще не было.

Спасало положение то, что молодые люди обоих полов часто носили комсомольскую форму цвета хаки⁶⁵. Украшения (кольца, серьги) носить не полагалось по комсомольскому уставу. Можно было украсить себя вышитым белым воротничком, например... Часов у детей, как правило, не было. Зимой мы носили длинные пальто на вате, и мужчины всех возрастов тоже.

Из стойких мелочей допустимого: из-под пальто не должен был выглядывать подол юбки или платья, это называлось «из-под пятницы суббота»; бюст девушки или дамы под платьем при ходьбе не должен был «колыхаться» (неприлично!). Даже долгое время после войны это соблюдалось. Длина же юбки менялась в разных крайних пределах, всем известных мини и макси.

Некоторые дамы в 1920-х гг. еще носили модные котиковые манто фасона кимоно, с запахом, без пуговиц. Иногда в них просвечивал коричневый или зеленый подшерсток, указывающий на большой возраст меха.

Овдовевшие или осиротевшие дамы по несколько лет носили т. н. «глубокий траур» — черная шляпа с откинутой назад и доходящей иногда до колен черной полупрозрачной креповой вуалью. Довольно долго держалась мода носить пальто «внакидку», т. е. не продевая руки в рукава, подражая очень занятым политическим деятелям.

Не могу не сказать и о том, какие часы тогда носили: мужчины носили главным образом карманные часы разных марок, материала и фасона; дамы — часики-медальоны, часто золотые с драгоценными камнями, или просто серебряные, на шейной цепочке или на длинной цепочке, а часики прятались в карманчик или за пояс

юбки. Самыми скромными были дамские черные часы, упрятанные в кожаный открытый футляр-браслет, который носили на левой руке. Другие наручные часы со стальным, серебряным или золотым корпусом пришли позже. У моей свекрови такие золотые швейцарские часики были куплены в 1915 г., я их носила до 1978 г.

В те годы, да и позднее, почти все советское время мода была консервативной и убогой. В 1960 г., через 15 лет после окончания войны, мой муж получил гонорар за книгу, и я, наконец, решила на покупку такого зимнего пальто, которое мне понравится безоговорочно. Но я при этом сказала, что ни за что не куплю пальто из черного букле с черно-бурой или серебристой лисой, пребывающее уже много лет в неизбывной моде! И что же? Ни в Москве, ни в Таллине, ни в Ленинграде я, при своих скромных требованиях, не нашла ничего другого, сняла свое заклятие и купила-таки пальто из черного букле с чернобуркой. Но я его так любила, что сносила буквально до дыр...

Пожалуй, тут же можно сказать, с моих теперешних возрастных позиций, что в те годы не было такого множества красивых и прекрасно сложенных модных людей и девушек, не говоря уже о повышении средних величин роста и размеров ног и ступней. Как биолог и генетик по образованию, могу лишь предположить, что это результат смешения народов. С трудом можно найти в России человека, в роду которого нет представителя какого-либо другого народа или расы, не говоря уже о татарах, украинцах и белорусах, да и евреях. В России это почему-то очень сильно выражено. Только в моей семье: отец русский, мать латышка; я уже была наполовину русская и наполовину латышка; моя дочь, внучка и правнуки представляют смесь уже трех народов — русского, латышского и еврейского; а правнуки моей сестры — четырех, так как прибавился еще и финский элемент. За четыре поколения произошел рост от одной национальности до четырех. И так во многих семьях, а в паспортах почти все русские, особенно молодые...

Не могу не сказать о поездках по железной дороге во времена моей активной жизни. Чтобы уехать на лето в другой город, в 1932 г. мне, школьнице, пришлось отмечаться в очереди за железнодорожными билетами каждым вечером в течение месяца у здания бывшей Городской думы на Невском. Проотмечавшись там в течение двух недель, я опоздала однажды (отмечались в 22 или 23 ч.) и должна была начать все заново. Не помню, тяжело ли я всю эту процедуру переносила, но, возвращаясь белыми ночами на трамвае № 12 через Дворцовый мост и Стрелку Васильевского

острова, я всегда испытывала ощущение счастья при виде освещенного окошечка под шпилем Петропавловской крепости.

Шуточки там тоже были специфические: однажды, увидев свободный подоконник в окне первого этажа здания Думы, я быстренько на него села под дружный хохот нашей толпы. Оказалось, они все поджидали неосторожную глупую личность, которая не углядит, что подоконник свежеекрашен. Чтобы посмеяться, конечно...

Очень тяжелы были и сами поездки: места мало, люди занимали и третьи полки (у наших друзей погиб 12-летний сын, свалившийся ночью с такой полки), воздуха мало, людей много, удобства минимальные и т. п. В купейных же вагонах меня всегда смущало слишком близкое соседство посторонних мужчин, иногда храпящих, распивающих спиртные напитки, громогласно играющих в карты, курящих и т. п. Во многих странах есть разделение на мужские и женские купе, и это правильно.

В студенческие годы, будучи на практике в Ташкенте, мы посвятили все лето проблеме получения обратных билетов. И движения очереди никакого не было, пока мы сами не организовали рациональную систему предварительной записи на билеты. За это многие пассажиры нашего поезда приветствовали нас криками «ура!», когда мы в него грузились...

Дорога из Ташкента до Москвы (потом еще и из нее предстояло уехать в Ленинград) занимала тогда 4,5 суток. Пассажиры раздевались до минимума, и с каждой полки свешивались простыни, закрывающие этот «пляж». А каждое утро начиналось с того, что все доставали свои ящики с фруктами (виноград, абрикосы, персики и т. п.) и выбрасывали в окно испортившиеся за жаркие сутки. Веял устойчивый дух гнилых фруктов.

И все это в тех или иных вариантах продолжалось и в следующие десятилетия. Через двадцать лет после этой поездки в Ташкент я, уже с семьей, возвращалась поездом из Литвы в Ленинград. И никто не мог понять причины ужасного запаха в вагоне. Уже в Ленинграде выяснилось, что под одним сиденьем протухла целая туша коровы, хозяин не появился...

Вот практически и окончилось мое первое детство. Я предвкушала с радостью поступление в школу.

МОЕ ВТОРОЕ ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Школьные годы. Ленинград

Прежде чем перейти к заметкам о самой важной полосе моей жизни, школьной, я должна сказать, что эти десять лет вместили в себя целую эпоху, переходную. За эту эпоху воспиталось уникальное поколение, сформировавшееся идеологически в период между революцией и т. н. социализмом. Это было поколение, воспитанное на еще чистых, в силу его еще юного восприятия, идеях коммунизма-социализма, и в 1937 г. «воткнувшееся» в какое-то смутное и страшное, немое время.

Еще отмечу, что советская школа за этот, в сущности, и не такой большой период пережила несколько реорганизаций и потом вернулась к первоначальному варианту, но уже с новыми педагогическими кадрами, а это, конечно, определило совершенно другую ориентацию в школьном воспитании, да и война была недалеко.

Перейду теперь к подробному изложению того, что помню из тех лет.

Сначала хочу сказать о бытовых условиях нашего существования. Мы жили в небольшой трехкомнатной квартире — коммунальной, естественно — на Б. Зелениной улице Петроградской стороны. Кроме нашей семьи, живущей в 16-метровой комнате с примыкающей бывшей ванной комнатой, там в двух комнатах жил парикмахер, у которого жена была психически неизлечимо больна и провела потом почти 30 лет в психиатрической лечебнице. Приехавшая из-под Твери родственная ей семья заняла одну из комнат, большую, и в числе восьми человек там и расположилась.

У нас была очень скудная обстановка: родительская железная кровать, стол, стулья, узкий и закругленный мягкий красный ди-

ванчик, на котором мы с сестрой поочередно, по полгода, спали. Вторым «лежбищем» был огромный кованый сундук — единственное, что мы привезли из Любима, да еще пепельницу... Постелить наши «кроватьи» на ночь было очень трудоемкой задачей. Кованый сундук был очень солидным, старинным и долговечным сооружением. Внутри него было нежно-розовое дерево, совершенно не стареющее, по внутреннему периметру его шли ящики с задвижными крышками. Снаружи он был диагонально оплетен широкими полосами-лентами кованого узорчатого железа, выкрашен в темно-зеленый цвет и закрывался на внутренний замок огромным ключом. В момент закрывания на ключ или открывания раздавалась громкая мелодичная музыка, которую можно было слышать на другом конце квартиры. В таких сундуках часто копили приданое девушкам.

В те годы район Зелениных улиц (Большая, Малая и Глухая) считался довольно окраинным, недалеко от Крестовского моста, и там ходил один трамвай, до Барочной улицы, на Острова трамваи еще не ходили, а другого транспорта не было.

В 1925 г. я пошла в школу. Все школы назывались тогда «трудовыми средними», но это не означало никакой политехнизации обучения. Курс средней школы еще соответствовал приблизительно обычному гимназическому курсу дореволюционного времени. Строгого территориального прикрепления к школе по «микрорайону», как было позже, после войны, не наблюдалось.

В городе действовало несколько школ с преподаванием на иностранных языках — две немецких в центре города (Annenschule и Petrischule), финская и эстонская на 1-й линии Васильевского острова и еврейская на 10-й линии. Еще до войны их закрыли, но потом репертуар таких школ изменился и расширился.

Наша школа, № 196 (потом ее номер дважды сменили), занимала половину семиэтажного здания на Большой Гребецкой улице, дом № 28 (потом Б. Пионерская, и снова Б. Гребецкая). До революции в нем размещалось реальное училище⁶⁶ (для мальчиков), и нам досталась хорошо и полно оборудованная, с прекрасными кабинетами, спортзалами и мастерскими (столярная, механическая и швейная), школа.

С самого начала хочу подчеркнуть высокую квалификацию, одухотворенность и сознание педагогического долга у всех членов педагогического коллектива, еще дореволюционного — почти весь период моего пребывания в школе. Нас учили наукам (часто еще и без учебников), развивали умственно и духовно, учили добру в самых разных смыслах, не смея касаться его в религиозных аспектах,

учили любить людей, друзей. Заложенные в школе дружеские отношения сохранились у нашего поколения до гроба буквально.

Подробнее о нашей школьной жизни.

При школе жили две т. н. «нянечки» с семьями. Они убрали помещение школы непрерывным и незаметным способом, как-то всегда были дома, т. е. в школе. Гардероб (тогда «вешалка») не закрывался, и номерков не было, воровства тоже.

В школе на последнем этаже жил директор с семьей — учитель физики Иван Филиппович Якимов. Каждый этаж состоял из большого зала, по одну сторону которого шли классы, и двух лестниц в торцах. На площадках лестниц одной стороны были уборные для девочек, на другой — для мальчиков. Почему-то там было чисто и сухо и ничем не пахло. На переменах мы собирались там, как в клубе.

Внизу была столовая, куда дети в большую перемену отправлялись классами, по расписанию, и получали там горячие завтраки. Для малообеспеченных детей эти завтраки были бесплатными. Остальных отправляли гулять на большой двор-площадку.

Здесь уместно упомянуть, что вокруг школы, начиная с большой перемены, располагались торговки, продающие семечки, орехи, варенные в меду или патоке орехи и семечки и т. п. Они продавали их стаканами и даже давали в кредит. Одна моя соученица завязла в таком кредите, что выбиралась из школы какими-то таинственными путями, избегая своих кредиторов. Пытались разгонять этих торговок, но это было трудно.

Младшие классы некоторое время именовались по буквам, а не по цифрам. Например: А I, А II, Б I, Б II и т. д.

Класс А I имел название «неграмотный», а А II — «грамотный», а потом это запретили, чтобы не было отбора более развитых и интеллигентных детей. Но этот ранний отбор детей еще долго чувствовался в составе учащихся и определял лицо класса.

В школе же, наряду с врачом, был еще и педолог⁶⁷, изучающий (при помощи всяких психологических тестов) наше умственное и физическое развитие и увязывающий это с социальным положением и — о ужас! — наследственностью. Вскоре педологи были изгнаны из школ, а позже и педология была объявлена лженаукой, и наша Валерия Александровна Хрущева переквалифицировалась в бактериолога.

Параллельных классов было только по два, но старших бывало и по одному, так как постоянно происходил отсев учащихся: уходили в ФЗУ (фабрично-заводские училища)⁶⁸, техникумы, проф-

техшколы или просто работать. Четыре первых класса обобщенно именовались Первой ступенью (I) (аналог дореволюционного «низшего» образования), остальные — Второй (II).

В 1930 г. закрыли 8-е и 9-е классы, их осталось по одному в каждом районе, которых было гораздо меньше, чем теперь. Осенью 1932 г. снова открыли 8-е классы, а с 1934 г. — 10-е. В 1934 г. аттестаты об окончании средней школы выдали после 9-го класса в последний раз. Но только с 1934 г. можно было поступить в ВУЗ (высшее учебное заведение) сразу после школы, не заработав двух-трехлетнего трудового стажа или не закончив рабфак. Рабфак — «рабочий факультет», т. е. трехгодичные курсы со стипендией, по ускоренной школьной программе, для лиц, не имеющих такового (среднего образования), часто даже малограмотных. Это были люди более старшего, конечно, возраста, и некоторые из них прекрасно учились и дальше, обладая большой закалкой и характером.

В 1925 г. в первом классе учились дети довольно смешанного возраста — от 6 до 10 лет в моем, например. Кроме того, были еще и «переросточные» классы из более старших детей, которые догоняли свой уровень — за два полугодия (семестра) они заканчивали два класса, а не один.

В моем классе училось 45 детей. Долгие годы и дальше провозглашалась борьба за снижение числа учеников в младших классах, но до последних десятилетий реального снижения численности учащихся в классе так и не произошло (перестроечного времени я не касаюсь).

Национальный состав учащихся был довольно пестрым — кроме русских там были немцы, татары, латыши и эстонцы, норвежцы и шведы, французы, датчане, кавказцы, евреи и другие, не говоря уже о белорусах и украинцах. Учительница делала у себя заметку о том, на каком языке говорят дети дома, и потом обращала на них большее внимание в отношении русского языка. Никакой национальной дискриминации тогда не ощущалось, за еврейский анекдот можно было легко попасть в тюрьму.

Вспоминаю интересную историю в связи с национальным вопросом: в мои пионерские годы, 1928–1930 гг., я знала одну пионерку в нашей пионерской базе (объединение пионеров из нескольких школ) Кюбру Тарыверды, которая уехала на летние каникулы к родным на Кавказ и не вернулась. Потом прошел слух, что ее украли и, в 13–14-летнем возрасте, выдали замуж. Мы, дети, очень ее жалели и возмущались этой историей, не понимая тогда, что это часть традиционного свадебного обряда.

Интересно, что после войны совершенно ушли из употребления наиболее распространенные в России имена — Иван, Николай, Мария, Вера, Федор и т. п., и на смену им пришли Эдуарды, Альберты, Эльвиры и другие европейские имена. Теперь эта волна отхлынула, и Дарья с Анастасией чуть ли не самые модные имена.

Еще в 1920-х гг. некоторые имена утратили свои уменьшительные варианты, например Жорж (французский вариант) и Жоржик от имени Георгий, Гога — от Игоря. Они приобрели чисто нарицательное значение, например «Гогочка», обозначающее домашнего изнеженного мальчика с хорошими манерами.

Еще об именах: в нашем детстве мы с сестрой дали слово друг другу, что первая из нас, которая родит дочь, назовет ее Алисой в честь героини любимой книги «Алиса в стране чудес»⁶⁹. Эта доля выпала мне, но я струсилась и назвала дочь Еленой. Когда она пошла в школу, то в классе оказалось семь Елен, семь Ирин, а остальные девочки, попеременно с немногими другими, были Наташи. Но моя племянница все же стала Алисой, и неожиданные ее поступки иногда мы связывали с ее именем, а лет через 30 после ее рождения Алис было уже довольно много.

Закон гегелевской диалектики об отрицании отрицания теперь заметен мне на каждом шагу, а в молодые годы он был пустым звуком для нас.

Вернемся к школе.

Авторитет учителей был непререкаем; с их стороны никогда не было резких или обидных замечаний и всегда соблюдалась (и в более старших классах) определенная дистанция между учителем и учащимися, никаких фамильярностей не было. Девочки, конечно, склонны создавать себе кумиров, но это тоже было в определенных границах.

Характерная для школьного режима того времени деталь: в младших классах из учеников поочередно назначался санитар, утром до уроков осматривающий у каждого ученика уши, шею, руки, ногти (и голову на предмет вшивости). Иногда некоторым назначалось выведение вшей: мазали голову керосином, и дети посещали школу, особенно не стесняясь, в платочках, а потом волосы им мыли зеленым мылом, продаваемым для этой цели. Еще для этого употребляли специальное средство сабадиллу. Из-за трудностей с дровами и перенаселенностью квартир мало кто мог топить ванную колонку, и почти все ходили в баню. Между прочим, считалось не очень приличным показать цель банного похода встретившемуся знакомому, и поэтому, даже в школьные годы, она всячески маскировалась: бе-

лье, например, несли не в сумке, а в портфеле. Стеснялись распаренного лица и мокрых волос при возвращении из бани и т. п.

В банях 1920-х гг. белье в предбанном помещении хранилось в стенных открытых ящиках площадью отверстия размером в 1 кв. метр и такой же глубиной. Туда банщица закидывала узел с вашим бельем и давала номерок или таз с номером. Позже ввели стоячие нумерованные шкафчики с замком, а в новой бане на Геслеровском проспекте⁷⁰ были диваны, на которых белье просто оставлялось без всякого номера.

Здесь же следует упомянуть о невероятном и даже историческом засилье блох в Петрограде. Блохи были всегда и везде — дома, в постелях, в складках белья, на всем живом — на теле человека и кошек, на полах и т. п. На лекциях в университете никто не стеснялся, и при жгучем ощущении, скажем, на ноге слюнули палец и уничтожали преступницу привычным движением. Применяли против них всевозможные средства: персидский порошок, нафталин, всякие травы, но тщетно. Возможно, способствовала сохранению популяции этого насекомого и уборка магазинов, парикмахерских и т. п. при помощи мокрых опилок — так, во всяком случае, многие думали. Уничтожило их только вымораживание всего живого во время страшных морозов в годы войны, но вымерзли только блохи, а клопы, например, и тараканы остались и здравствуют до сих пор.

Системы наказаний в школе никакой не было. Самое строгое мероприятие, которое позволял себе учитель в этом плане, были слова: «Ну, так походи теперь к Ивану Филипповичу и расскажи ему о том, что ты натворил». Ученик шел к директору школы. Иван Филиппович говорил: «Сядь на тот стул и подумай» и продолжал спокойно заниматься своими делами. Через некоторое время он говорил: «Ну, а теперь иди». И этого было достаточно. Среди учащихся это называлось «ковырять стенку у Ивана Филипповича». Очень редко вызывали чьих-то родителей.

Самым распространенным тогда, да и позже, домашним наказанием — легким, но эффективным, — было «стояние в углу». Присуждение его обычно сопровождалось словами: «Постой в углу и подумай!» В 1946 г. мой шестилетний племянник сам отправился в угол в детском саду, когда, зажав кран в ванной пальцем, произвел круговое обмывание стен. Этим своим мужеством он умилил свою воспитательницу, и она рассказала об этом его родителям.

Из мелочей школьного быта стоит упомянуть чернильницы, вставленные в верхний край парты, чернильницы-непроливайки, края

которых конусом заворачивались внутрь. Чернила в них наливали дежурные по классу. Ручка, в которую вставлялось металлическое перо, в Москве называлась «ручка», а в Ленинграде «вставочка». Самое универсальное и удобное перо было № 86, а для более ответственного и нарядного письма употреблялось перо с широким и более гибким острием — «Рондо»; от него, по-видимому, произошли потом плакатные перья. Кроме простых карандашей (лучшие фирмы «Фабер»), были и химические, с более ярким, почти нестираемым следом. На карандаши надевались металлические наконечники, чтобы острие не ломалось, и удлинители, если карандаш исписывался и становился коротким.

Многие мальчики книги и тетради носили в спинных ранцах из тюленьей кожи с серовато-зеленым мягким мехом-ворсом.

В младших классах еще были какие-то примитивные учебники. Помню, например, «Родную речь», «Развитие речи». Знаменитые дореволюционные учебники Киселева по математике не переиздавались, так как в них фигурировали купцы и приказчики, а, кроме того, — фунты, аршины, версты, сажени и прочие русские меры длины, веса и емкости. А тогда уже и в России начался переход к единой международной системе мер. Учителя, конечно, брали задачи из учебника Киселева, переводя старые меры в новые, но мы тогда об этом не догадывались.

Отметки были еще очень осторожные — «уд» и «неуд», т. е. «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Потом добавились еще «хор.» и «оч. хор.». Т. н. «стандартные учебники» по всем предметам мы получили лишь в 8-ом классе. Полного учебника грамматики русского языка, по-моему, мы до тех пор не имели, все было оставлено на волю прекрасных наших учителей, они делали все, что могли. Уроки литературы, которые вела Мария Александровна Климова, были основой нашего духовного воспитания. Никакого снижения уровня преподавания до уровня малоразвитых учеников не было, и М. А. боролась за каждого ребенка хоть с маленькой искрой. У нас на этих уроках постоянно происходили споры и горячие дискуссии, и мы много читали. И даже в частных разговорах, особенно с моей до сих пор ближайшей подругой, мы часто пытались решить вопросы о цели жизни, о будущем человека и т. п. Но до сего дня мы с Еленой Викторовной Бернадской этих вопросов не решили и лишь многому удивляемся...

По старой и очень хорошей традиции с младших классов нас приучали учить наизусть стихи, басни и даже отрывки в прозе. Учительница немецкого языка Анна Мартыновна Рейнгардт

внушала нам, что если прочитать вслух стихотворение тринадцать раз, то непременно его запомнишь. Это действовало на нас магически. Немецкие слова мы читали только с доски и также с доски списывали бесконечные биографии знаменитых немцев — Гете⁷¹, Шиллера⁷² и др.

Среди учителей были и крупные люди: физику во всех классах преподавал доцент (?) Института усовершенствования учителей и городской методист преподавания физики Иван Александрович Челюскин, причем всех учеников он называл по имени, а по фамилии только в случае серьезного недовольства учеником; математику — Павел Евгеньевич Лезедов (барон фон Лезедов), городской методист по математике (нам он говорил, что закончил лишь три курса Горного института и был «вечным студентом», т. е. любил повеселиться, а не учиться); пение и музыку (нам преподавали даже сольфеджио, нотную грамоту и гаммы, был экзамен по распознаванию основных оперных мотивов и мелодий симфоний и т. п., в школе был прекрасный хор) — в будущем профессор Консерватории Георгий Михайлович Римский-Корсаков и композитор и инициатор цветомузыки⁷³ Николай Александрович Малаховский.

Нас всячески старались развивать: раз в две недели было обязательное «слушание музыки» для всей школы, в актовом зале. К этим концертам привлекались еще родственники и друзья наших учителей, особенно химика Пантелеймона Васильевича Верещагина. Раз в две другие недели было «художественное чтение» для всей же школы, исполнительницей его была учительница младших классов Анна Григорьевна Гуськова. Воспитатель наш с 4-го по 9-й класс вышеупомянутый П. Е. Лезедов очень рано начал читать нам вслух «Евгения Онегина» и просил останавливать его, если будут непонятные слова. Однажды, когда мы внимательно слушали, он вдруг спросил: «А почему ничего не спрашиваете? Вы знаете, например, что такое куртина?»⁷⁴

Приблизительно раз в месяц мы всем классом ходили в ТЮЗ (Театр юных зрителей на Моховой, д. 33). С нас собирали по 26 копеек — 25 коп. за билет и 1 коп. за билеты для неимущих детей. Репертуар театра был тогда небольшой, там шли «Проделки Скапена»⁷⁵, «Похождения Тома Сойера и Гекльбери Финна», «Хижина дяди Тома», «Так было» (о дореволюционном антисемитизме) и др. После спектакля «Хижина дяди Тома» по Гарриет Бичер-Стоу (о положении негров в Америке)⁷⁶ многих девочек отпаивали валерианкой, а после «Так было» повысился интерес к еврейскому

вопросу, и появились антисемитские выходки в школах. Непостижимы законы пропаганды и агитации, впору вспомнить слова Тютчева: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется»...

При ТЮЗе было что-то вроде тюзовского актива из зрителей-школьников (точного названия не помню).

Школа была открыта до самого вечера; наскоро сделав уроки, мы снова бежали в школу. Там мы занимались в спортзале на спортивных снарядах, шведской стенке, играли в пинг-понг (настольный теннис) и т. п.; читали в библиотеке; в географическом кабинете через ручной стереоприборчик рассматривали снимки разных географических и этнографических сюжетов (этих снимков там было несколько объемистых шкафчиков), дети получали ключ от кабинета, и никто за ними не следил. Работал драмкружок, а когда он потерял почему-то своего руководителя, то наш класс организовал свой кружок, в котором мы все обеспечивали сами — писали пьесы и даже музыку, делали декорации. Когда наш классный воспитатель П. Е. Лезедов увидел однажды нас за этими занятиями, то он стал нашим кружком руководить и получал от этого, по-видимому, не меньшее удовольствие, чем мы, даже сам играл в наших пьесах. Роль дворника, например, который при возвращении в город белых метет улицу и говорит: «И зачем это я царский портрет в уборную стравил?!»... А когда он исполнял роль инженера — врага рабочих, естественно, и про него какой-то персонаж говорит: «Этот Циммерман такая сволочь», то мы были в восторге, что П. Е. обозвали, да ему самому пришлось произнести слово «уборная». Он был нашим любимым воспитателем с 4-го по последний класс, пользовался огромным авторитетом и доверием с нашей стороны, и мы уважали его платонический роман с одной из завучей школы.

В 1935 г. П. Е. был арестован и выслан в Лугу (за 101-й километр от Ленинграда, первую границу высылки). Потихоньку говорили, что поводом к аресту была встреча его семьи с дипломатом из Риги, родственником его жены. Да еще вдобавок она приняла от него пустячный подарок, чуть ли не чулки. В августе 1941 г. я встретила его на улице, когда население пригородов при подходе немцев бежало в Ленинград. По-видимому, он погиб в блокаду, оставив по себе прочную и светлую память.

В 1930 г. вместо директора школы Ивана Филипповича Якимова (тогда сняли всех директоров школ с высшим образованием; И. Ф. не помогло даже его крестьянское происхождение) в школу прислали нового директора, работницу в красном платочке, еле

грамотную. Это была Екатерина Максимовна Соловьева, человек большого природного ума и такта. Всю основную работу она оставила завучам, а себе взяла хозяйство и всякую административную волокиту. Ей доверяли и ее любили все. Нашей школе тогда очень повезло. Она проработала несколько лет, а затем пришел Петр Иванович Шестаков, установивший настоящий казарменный режим, по словам более поздних учеников.

Первые три класса мы учились по старинке, у нас была одна учительница Мария Ивановна Скороходова, красивая, стройная, строгая, религиозная молодая женщина в очень длинном платье. Она рассадила нас по парам — на каждой парте были мальчик и девочка. Я сидела с Тоней Капкиным. Это было хорошо, мы дружили, без повышенного интереса к соседу по парте. М. И. могла еще позволить себе читать вслух детские книжки английской детской писательницы Луизы Олькот «Маленькие мужчины» и «Маленькие женщины»⁷⁷ и т. п., иногда говорила немного о святых. В 1933 г. она уехала за границу, и через 20 лет я ее случайно встретила в Риге, мы переписывались еще лет пятнадцать, до ее кончины.

В 4-м классе на нас испробовали новую систему обучения, «кабинетную». Классы занимались уже в специальных кабинетах, на стенах висели планы заданий, но каждый ученик занимался будто бы самостоятельно, в 4-м же классе мы перешли к «бригадно-лабораторному» способу⁷⁸. Класс был разбит на бригады, по желанию учеников, и когда дело доходило до зачета, то вопросы учителя адресовывались не отдельному ученику, а всей бригаде и любой ее член мог на него ответить. Отвечали, естественно, самые сильные, но оценки ставили всей бригаде.

В некоторых школах практиковался еще один вариант этой системы. О нем рассказывал мой муж, который в возрасте 15–18 лет был учителем тогдашних младших классов. Это было нечто вроде «синтетического» урока (у этого варианта, кажется, было название «комплексный») — объявлялась тема урока, например, «утка». Объяснялось ее анатомическое строение, физиология, географическое распространение, хозяйственное значение и еще что-нибудь, дающее возможность привязать этот материал к объекту урока. Много анекдотов ходило о подобных уроках и, конечно, от этой системы тоже вскоре отказались.

Оба упомянутых варианта не привились, и к 5-му классу нас ждала уже новая метода — «Дальтон-план»⁷⁹, кажется, аналог американской студенческой. Мы уже жили по свободному расписанию,

посещая любые кабинеты в любые часы, индивидуально. На руках мы имели что-то вроде зачетной книжки из цветных листочков, разграфленных по неделям, ловили учителей, отвечали им на ходу и, как правило, получали зачет по предмету за данную неделю. На большой перемене в актовом зале собирались все ученики на двадцатиминутную «конференцию», и среди других объявлений какой-нибудь учитель говорил, что он ждет такой-то класс в такое-то время на консультацию по своему предмету. Там он объяснял очередные узловые законы и правила, согласно плану, и давал какие-то перспективные задания. Остальное мы должны были дорабатывать самостоятельно. Может быть, я не очень точно по годам изложила эти школьные реформы, некоторые мои ровесники не во всем со мной согласны, но принципиально это верно.

Это было богемное время, часто мы его проводили в дискуссиях и болтовне в уборных, а к концу месяца, набрав учебников, старались что-то подогнать. Закончилась эта авантюра тем, что на следующий год один класс целиком оставили на второй год и большая часть учеников ушла в ФЗУ, хорошо организованные ремесленные училища при заводах и фабриках, и многие из окончивших их стали мастерами на заводах или пошли учиться дальше. В результате из остатков нашего класса и второгодника получился один хороший класс. В 6-м классе таким образом остались более сильные и более обеспеченные дети, учеников стало меньше и снова получилось что-то вроде их отбора. Реформа не удалась, и нас снова вернули к нормальным классным занятиям.

Надо сказать, что общественная жизнь в школах кипела ключом. Залогом ее оказалось объявленное в масштабах страны школьное самоуправление. В каждой школе был избран ШУС (Школьный ученический совет), без которого не обходилось ни одно школьное мероприятие, была даже иллюзия, что и школьная администрация ему подчиняется, т. е. она тоже играла в эту игру. ШУСы все же продержались недолго и на смену им пришли Учкомы (Ученический комитет) с секторами (я ведала в нем, например, производственным сектором), имеющими своих заведующих (не помню их названий) и свои планы работы. Иногда дирекция школы привлекала нас к обсуждению каких-то планов, резолюций и т. п., подчиняясь этим новым веяниям. Екатерина Максимовна, во всяком случае, часто давала нам, учкомовцам, свои бумаги на предварительную проверку...

Кроме Учкома, в школе была сильная пионерская организация (база ее сначала была в районах, а не в школах) и комсомоль-